

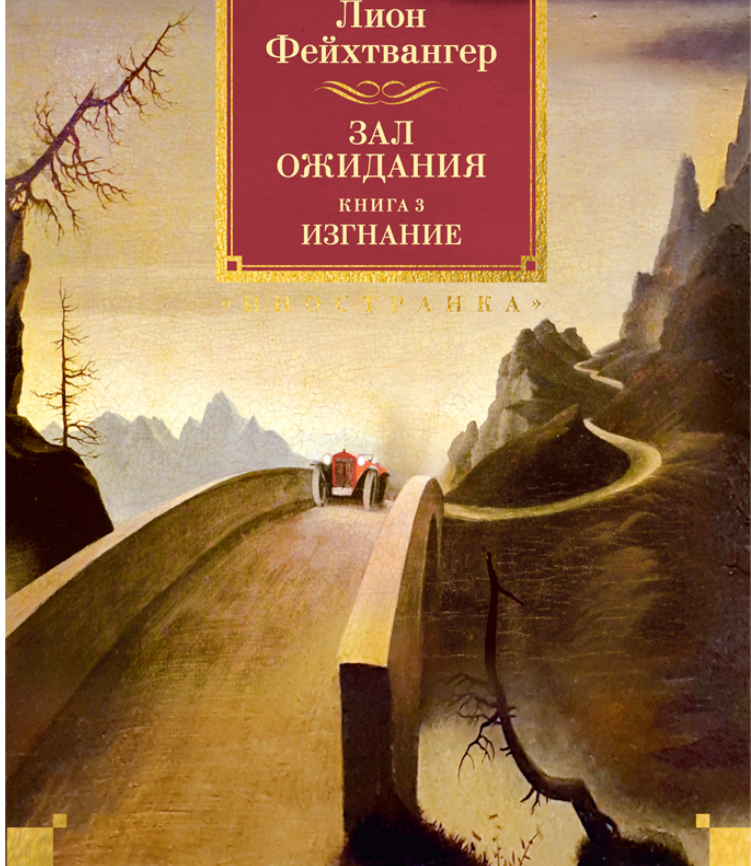
БОЛЬШИЕ КНИГИ

Лион
Фейхтвангер

ЗАЛ
ОЖИДАНИЯ

КНИГА 3
ИЗГНАНИЕ

« ИНОСТРАНКА »



Лион Фейхтвангер
Зал ожидания.
Книга 3. Изгнание
Серия «Иностранная
литература. Большие книги»
Серия «Иностранная
литература. Большие книги»

<https://litres.ru/70304242>

Зал ожидания 3. Изгнание: Иностранка, Азбука-Аттикус; Москва;

2024

ISBN 978-5-389-25065-9

Аннотация

<p>Париж, 1935 год. Композитор Зепп Траутвейн, отправившийся в изгнание после прихода к власти нацистов, сочиняет симфонию «Зал ожидания». Но после похищения немецкой полицией журналиста эмигрантской газеты Фридриха Беньямина Траутвейн вынужден занять его место. Теперь его оружие – слово, и он не собирается отступать до тех пор, пока Беньямин не окажется на свободе. Героический поступок или пустая трата сил?</p> <p>Лион Фейхтвангер, в 1933 году вынужденный покинуть родную Германию и объявленный на

родине врагом нации, создал эпохальный роман, написанный изгнанником об изгнанниках, повествующий о тех, кто сражается, и тех, кто сдается. Законченный автором незадолго до начала войны в 1939 году, роман «Изгнание» завершает знаменитую трилогию Лиона Фейхтвангера «Зал ожидания».

Содержание

Книга первая	6
1	6
2	30
3	48
4	60
5	86
6	115
Конец ознакомительного фрагмента.	118

Лион Фейхтвангер

Зал ожидания 3. Изгнание

Lion Feuchtwanger

EXIL

Copyright © Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 1956
and 2009

© Роза Розенталь (наследник), перевод, 2024

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2024

Издательство Иностранка®

Книга первая

Зепп Траутвейн

*И покуда не поймешь:
Смерть для жизни новой,
Хмурым гостем ты живешь
На земле суровой.*

Гёте

1

День Зеппа Траутвейна начинается

Осторожно доставая из ящика бумагу и карандаш, чтобы записать родившуюся в нем мелодию, он нечаянно сбрасывает книгу с шаткого, сильно загроможденного письменного стола.

– Ах, будь оно неладно! Анна, конечно, проснулась.

И действительно, с кровати доносится ее голос:

– А который теперь час?

– Двадцать семь минут седьмого, – точно докладывает он с раскаянием в голосе. Но Анна не сердится, что он ее так рано разбудил. Она лишь деловито замечает, что вряд ли теперь уснет и, пожалуй, самое лучшее – позавтракать вместе с сыном.

Иозеф Траутвейн, тихонько насвистывая сквозь зубы, быстро, не без удовольствия записывает несколько тактов. И снова ложится. Глядя, как он проходит, шаркая, по комнате, вряд ли кто найдет его красивым: костлявое лицо, глубоко сидящие глаза, густые, уже поседевшие брови, грязноватая щетина на щеках; одна штанина пижамы завернулась, обнажив худую, поросшую седовато-черными волосами ногу. Но Анна, которая прекрасно видит убожество унылого номера гостиницы, не замечает, что Иозеф Траутвейн, ее Зепп, тут, в Париже, в условиях жалкого эмигрантского прозябания, уже не тот статный мужчина, каким он был в Мюнхене, где пользовался всеобщей любовью. В глазах Анны он не изменился. В ее глазах он, сорокашестилетний отставной профессор музыки, все так же лучезарно молод, как в пору их первой встречи, все так же красив, мужествен, полон сил, жизнерадостен, уверен в успехе. В сущности, она довольна, что своей неловкостью он разбудил ее; полчаса они побудут вдвоем, а потом уж мальчик перед уходом в лицей, как всегда, сядет с ними завтракать.

При свете зарождающегося дня, в котором все отчетливее проступают теснота и убожество комнаты, Иозеф Траутвейн, посапывая от удовольствия, снова забирается под одеяло. Анна пользуется случаем, чтобы потолковать с ним о своих планах на сегодня. Доктор Вольгемут обещал отпустить ее ровно в двенадцать, она хочет снова сходить к господину Перейро и попросить его как-нибудь продвинуть в

дирекции радиовещания их дело. Эти проволоочки возмутительны: вот уже два месяца, как дирекция обещала Перейро принять для исполнения ораторию Траутвейна «Персы». Понятно, что для преодоления всех бюрократических препон нужен срок, особенно когда дело касается германского эмигранта. Но это уже так давно тянется, а было бы желание, все давно бы устроилось.

Иозеф Траутвейн слушает без особого интереса. Ему жаль, что Анна, и без того работающая через силу, тратит столько энергии на то, чтобы добиться передачи «Персов» по радио. Его самого это мало занимает. Он не любит радио; радио – суррогат, оно все искажает. Да и слушатели все равно ничего не поймут в оратории «Персы», до широкой публики такая музыка еще не доходит; дирекция радио вполне права, что медлит с решением. К тому же он не считает ораторию законченной; еще немало времени пройдет, пока он ее отработает до последней черточки. Что ж, тем лучше, спешить ему некуда, работа его радует. В сущности, он заранее с грустью думает о том времени, когда поставит точку.

Слушая Анну, он возвращается к мелодии, которую раньше нашел, к нескольким тактам, передающим отчаянный горестный вопль отступающих, побежденных персов. В то же время он прислушивается к звуку Анниного голоса. Голос спокойный, приятный, он очень его любит. То, что этот голос произносит, не так интересует его. Бедная Анна. Несомненно, она предпочла бы говорить с ним о его музыке; в Герма-

нии его интересы поглощали ее целиком. Она, конечно, не хуже его знает, что радио – только суррогат. Но у нее просто нет времени говорить с ним об этих вещах, для нее таких же существенных, как и для него. На ней лежит все бремя мелких будничных забот; не удивительно, что Анна прежде всего говорит о них. Но это всегда монолог – сам он ничего в них не смыслит. Впрочем, как ни сложны на первый взгляд всякие мелочи, в конце концов, если вооружиться терпением, все выходит само собой. Верно, в Париже у него нет ни имени, ни связей, да и с деньгами туговато – гнусно, что Анна ради каких-то нескольких сот франков день за днем изводится у несносного доктора Вольгемута. И все же им живется лучше, чем многим и многим эмигрантам. Конечно, красивый и удобный дом, который пришлось бросить в Мюнхене, приятнее, чем эти две унылые комнаты в гостинице «Аранхуэс», где он теперь ютится с Анной и сыном. Но они вместе и все здоровы. И здесь, в Париже, как и в Мюнхене, с ним неразлучна его музыка, есть у него и письменный стол, и даже пианино – он может работать. Разумеется, он предпочел бы, обдумывая что-нибудь серьезное, бродить вдоль берегов Изара, а не по набережным Сены, но, в конце концов, и на Сене людям кое-что приходит в голову, да и Анна с ним – его самый лучший, самый чуткий слушатель.

Вдобавок у него есть еще и политика. Зепп Траутвейн по природе своей человек аполитичный, музыкант и только. Но суровый опыт научил его, что нельзя творить музыку вне по-

литики. Нападки, сыпавшиеся на него все последние годы в Германии, оттого что он боролся за реформу музыкального воспитания; трудности, которые чинили ему, когда он в Мюнхенской музыкальной академии излагал свои «большевицкие взгляды на культуру», – все это показало ему, как тесно переплетены искусство и политика. Хорошая музыка и плохая политика несовместимы – это не поверхностный взгляд, эта мысль вошла у него в плоть и кровь. Гендель, Бетховен, даже Вагнер мыслятся им теперь только как революционеры; уже самые их устремления в музыке подводили их к политике. Нельзя увильнуть от политики, если хочешь, чтобы искусство твое не страдало. Его музыка, во всяком случае, может звучать только в чистой атмосфере. А если чистой атмосферы нет, значит ее надо создать. Как угнетало его все эти последние годы, что в качестве профессора государственной академии, чиновника, он не смел со всей откровенностью громить поднимавшее голову варварство. Здесь, в Париже, он по крайней мере пользуется этой свободой.

Нет, вообще говоря, могло быть много хуже. «Аранхуэс» – так называется гостиница, в которой они живут; и почти никто из их гостей не упускает случая продекламировать шиллеровские строчки о «прекрасных днях Аранхуэса». Но сам он если и посмеивается над этим замызганным «Аранхуэсом», то без всякой злобы, добродушно.

Анна заметила, что Зепп почти не слушает того, что она

толкует ему о радио. Но она привыкла к его рассеянности.

– Тебе следовало бы как-нибудь заглянуть к Перейро, – говорит она чуть-чуть резко. – Не так легко найти друзей на чужбине, а уж таких, которые тебя поддержали бы, и подавно. Перейро – люди влиятельные и ведут себя прилично. Их не следует отталкивать от себя.

– Ты ведь знаешь, – сердито говорит он, – как мне противно ходить на поклон. Я не выношу меценатства. Если на радио что-нибудь выйдет, tant mieux, тем лучше. Не выйдет – тоже не беда. – Еще не закончив своей ворчливой реплики, он уже жалеет о ней. Анна из кожи лезет вон, чтобы все устроить; ему следовало бы это ценить.

– Вздор, – говорит она без всякой обиды, но решительно, – ты прекрасно знаешь, какой это будет удар, если дело сорвется. – Она, конечно, имеет в виду и гонорар.

Он миролюбиво бормочет что-то. Это можно принять за согласие. Но про себя думает, что прав все-таки он и что, в конце концов, он своим южногерманским благодушием добьется большего, чем она своей прусской напористостью.

Некоторое время оба лежат молча. Он часто ей уступает, но она знает, что это от лени: он не любит спорить. Вернее всего, он и в следующий раз, когда она заговорит об этой радиопередаче, будет отвечать так же рассеянно, наобум. Да, с ним нелегко. Он ужасно упрям, настоящий мюнхенец, он просто не желает понять, что без энергичных усилий положения здесь не завоюешь. Да и Перейро тоже скоро наскучат

ее вечные просьбы. «I am sick of it»¹, – ответил недавно один лорд-еврей ее знакомому, когда тот в тысячный раз пришел что-то клянчить у него для немецких эмигрантов.

Перейро – очень милые люди, они ценят искусство, они крайне добродушны. Но их осаждают со всех сторон; не удивительно, если в конце концов им надоест постоянно заступаться за антифашистских эмигрантов. И если бы они предпочли помогать евреям, то и за это их нельзя было бы винить, а они, Траутвейны, не евреи.

Быть может, она все-таки напрасно не зашла вчера покрасить волосы. У Перейро ей надо хорошо выглядеть. Но ее бюджет рассчитан до последнего сантима: из чего ей урвать эти тридцать франков? Можно бы самой покрасить волосы. Но никак не выгадаешь время, да и все равно не то будет. А может быть, даже к лучшему, что в волосах у нее поблескивает седина. Жена уже начинает ревновать.

Зепп-то вряд ли замечает, какие у нее волосы, – темно-каштановые, как им полагается, или с сединой у пробора. Он привязан к ней, как и в первый день, но уже не видит, хороша ли она. Анна и довольна, что он не замечает, как черты ее широкого чеканного лица расплываются, а сияющие глаза, которыми она славилась, тускнеют, – и как будто все же не совсем довольна.

Все мы стареем, но сейчас ей особенно некстати, что ее цветущая пора миновала. В Мюнхене, в Берлине ей, краси-

¹ Я сыт этим по горло(англ.).

вой женщине, часто удавалось исправить многое, что Зепп, бывало, напортит, стоило лишь мило улыбнуться или даже чуть-чуть пофлиртовать с кем надо. Зепп столь же непрактичен, сколь талантлив, он не раз губил самые лучшие возможности. Сколько шуму бывало, сколько неприятностей из-за одних только его политических разговоров. Ей приходилось обивать пороги, смягчать, сглаживать. Здесь, в Париже, ей тем более надо блистать, пленять, иначе ничего не добьешься. Но два года эмиграции красоты ей не прибавили. Крепись, стараешься сохранить юмор – и все же чертовски трудно не подавать виду, что хотелось бы скрежетать зубами, когда надо мило, по-дамски улыбаться.

Хорошо, что Зепп не так уж трагически воспринимает изменявшиеся условия. Он чувствует убожество их повседневной жизни, лишь когда это его непосредственно задевает. То, что они катятся вниз, – для него «чепуха», тщеславие ему чуждо. Еще в Мюнхене он потешался над тем, что его величали профессором.

Вот он лежит, повернув к ней худое, костлявое, небритое лицо, слегка улыбающееся, довольное. Пожалуй, он чувствует себя здесь счастливее, чем в Германии; здесь меньше суетни, больше времени для настоящей работы, для музыки. Она понимает это прекрасно, она верит в его музыку и убеждена, что нужно делать то, к чему ты призван, пусть это материально и не оправдывается. Но все же какая обида, что этот талантливый человек, ее Зепп, по-видимому, обречен

теперь работать впустую. В Германии он имел успех даже среди широкой публики; его «Оды Горация» исполнялись во всех концертных залах. Там резко нападали на «большевица от культуры», но у него было несколько фанатичных почитателей, в их числе и очень влиятельные люди, например дирижер Риман. В Германии «Персы» пошли бы в отличном исполнении, возможно в Филармонии. А тут радуйся, если выгорит эта сомнительная радиопередача.

Ей нравится его равнодушие к перемене их положения, но оно не совсем ей понятно. Может быть, все дело в том, что Зепп уже в детстве и юности познал нужду, тогда как она росла легко и привольно. Когда она говорит, что они скатились вниз, он ласково слушает ее, как взрослый ребенка. Неужели он не находит ничего унижительного в том, что он, Зепп Траутвейн, вынужден за ничтожную плату вдалбливать слушателям Парижской музыкальной академии правильное немецкое произношение в вокальных партиях с немецким текстом? И что ему приходится считать благодеянием, если маленькая эмигрантская газетка «Парижские новости» заказывает ему статьи, за которые платит по несколько франков?

Все было бы легче, если бы она могла по крайней мере по-прежнему приобщаться к его работе, к его музыкальному творчеству. В Германии он играл ей свои вещи, обсуждал с ней все мельчайшие детали, и хотя у нее нет достаточной подготовки, чтобы все понять, чутье-то у нее есть, она улавливает, чего он добивается, и, конечно, не из простой

влюбленности он сотни раз уверял ее, что она его музыкальная совесть. Не всегда критика сходила ей с рук. Он и сам взыскателен к себе, но порою, когда она уж очень допекала его и все выражала недовольство, все придиралась, уверяя, что надо еще доделать то или другое, – так было, например, с «Четырнадцатой одой Горация», – он приходил в бешенство и отчаянно бранился. Но под конец он почти всегда вновь брался, ворча, за работу, и оказывалось, что не напрасно. Хорошие это были часы, когда они работали вместе, испытывая чувство нераздельной близости. Теперь же, вместо того чтобы участвовать в его работе, ей приходится каждый день за ничтожные гроши изводиться у доктора Вольгемута, уговаривать противных, сварливых пациентов, помогать Вольгемуту, осматривать рты с гнилыми зубами, ковыряться в них, и все это с любезной улыбкой. Она считает себя человеком спокойного нрава, но ей непонятно, как может Зепп так невозмутимо мириться с этой жизнью.

В соседней комнате просыпается сын. Анна, раз уж она не спит, могла бы, собственно, тоже встать. Но к Перейро надо прийти свежей, а если не позволишь себе иногда полежать подольше в постели, через два года превратишься в старуху. Нет, лучше уж полежать.

Она слышит, как мальчик – она так же упорно называет Ганса мальчиком, как Зепп называет его мальчуганом, – плещется в маленькой ванной, умывается. Он, конечно, наденет трусы, все его приятели в лицее считают шиком носить тру-

сы, но лучше было бы, если бы он пренебрег этим шиком и надел кальсоны, чтоб не простудиться. Однако она подавляет в себе желание сказать об этом Гансу. Он мальчик разумный, но только станешь его в чем-нибудь убеждать, как он упрется – и ни с места.

Ганс входит в комнату. Лицо у Анны вспыхивает радостью. Он невысокого роста, но широк в плечах и крепок; глубоко сидящие глаза и густые брови – и то и другое от отца – придают его лицу мужественное выражение, не по годам серьезное. Анне немного неловко лежать с Зеппом в кровати в присутствии ее мальчика; ей также неприятно, именно перед ним, что он видит ее седеющие, нечесанные волосы.

У Ганса свежий вид, он выспался. Предложение Зеппа вместе приготовить завтрак он отклоняет добродушно, чуть свысока:

– Брось, Зепп, какая от тебя помощь, ты только мешаешь.

Отец обращается с ним как со взрослым и разрешает называть себя Зеппом.

Во время завтрака идет оживленный разговор о горестях и радостях лицейской жизни. Больше всего отравляет жизнь юным эмигрантам, посещающим французские школы, незнание языка. Ганс одолел это препятствие быстрее других, и хотя иной раз ему еще дают почувствовать, что он иностранец, бош, но все-таки он освоился в лицее скорее, чем ожидал. Он уже многое наверстал, и если раньше ему приходилось сидеть на одной скамье с французскими ребятами

тами на два года моложе себя, то теперь он уже скоро, возможно к восемнадцати годам, сможет сдать экзамен на бакалавра. Вокруг подготовки на звание бакалавра – «башо», как здесь говорят, – вокруг планов Ганса и вертится разговор за завтраком.

Время проходит быстрее, чем хотелось бы Анне. Она огорчена, когда Ганс поднимает глаза на часы. Это красивые, небольшие стенные часы из ценного дерева, украшение всей квартиры. Она подарила их как-то Зеппу к дню рождения, и Зеппу они нравятся; они очень простой формы, и их негромкое тиканье бодрит его. Часы принадлежат к тем немногим вещам, которые они спасли, которые им удалось вывезти из Германии.

Да, пора, Гансу нужно идти. Он берет свой портфель.

– Кстати, мама, ты заметила, что я заделал окно? Теперь уж наверняка дуть не будет. – Его угнетает, что он, чрезвычайно занятый школой и другими важными для него делами, не имеет возможности, хотя ему почти восемнадцать лет, заработать для семьи несколько су. К счастью, у него ловкие руки и хотя бы в хозяйственных мелочах он может помочь своим.

Пока Ганс не ушел, пока он болтает, невзрачная комната наполнена жизнерадостным светом его восемнадцати лет. Но едва мальчик исчезает за дверью, как сотни будничных мелочей с новой силой обрушиваются на Анну. На столе – остатки еды и грязная посуда; Анна, всегда такая аккурат-

ная, не притрагивается к ней. Молоко не допито; надо надеяться, что мадам Шэ, их приходящая прислуга, не сделает обычной глупости и не нальет свежее молоко во вчерашнее. Анна уже несколько раз говорила ей об этом; но Шэ молода, у нее в голове одни только мужчины, она безалаберна, вечно повторяет все те же глупости. А у Анны нет времени поискать замену мадам Шэ и расстаться с ней.

Гнусно, что приходится забивать себе голову такими мелочами, вместо того чтобы интересоваться музыкой Зеппа. Анна лежит с закрытыми глазами, можно подумать, что она мирно спит. Но в голове у нее роятся мрачные мысли. Ее гложет, что юность мальчика проходит в такой жалкой обстановке, что он видит ее в постели с Зеппом, что волосы у нее не покрашены. Покрасить волосы – это тридцать франков. Что такое тридцать франков? Пустяки. Но теперь приходится думать о том, что на тридцать франков можно купить пять кило рыбы, или два кило масла, или шестнадцать кило хлеба; хорошая комната стоит в день тридцать франков, на эти деньги можно сделать сорок концов в метро или три раза сходить в кино.

Анна, правда, примирилась с тем, что теперь все не так, как было раньше, она в состоянии, и даже нередко, смеяться весело и от души, она и не думает унывать. Но у нее невольно вырывается вздох, когда она вспоминает, что Зепп в Мюнхене зарабатывал эти самые тридцать франков в пятнадцать минут. Теперь ей приходится за тридцать франков работать

почти целый день и затем два дня высчитывать, как и на чем сэкономить, чтобы покрасить волосы.

Зепп обо всем этом не тужит. Сотни мелких тревог не терзают его целыми днями, не мешают спать по ночам, они над ним не властны. Его не интересует, что для мира он уже никто; внутренне Зепп – все тот же. Нынче, через два года после переворота, он окончательно забыл, какую роль играл в музыкальной жизни Германии. Она не плачет о прошлом, нет так нет, что миновало, то миновало, но и не строит себе никаких иллюзий. У Зеппа есть музыка, он пишет ее для себя и для нее, а там – работаешь и кое-как перебиваешься. А что до признания, которого Зепп добился на родине, то оно было и сплыло, и здесь, в Париже, оно ему ни на йоту не помогает заработать кусок хлеба.

И все же Зепп был прав, бросив службу тотчас же после прихода Гитлера к власти. Не через день, так через два его все равно выжили бы. И то, что он уехал за границу, было правильно и хорошо. Человек, который и раньше едва переносил все сгущавшуюся атмосферу реакции, вряд ли мог бы жить в стране, где хозяйничают гитлеры. Она с теплым чувством вспоминает, как решительно этот обычно неповоротливый человек все бросил, какое желчное письмо о своем уходе написал министру просвещения. Да и она тогда ни секунды не колебалась и одобрила его решение.

Она и раньше говорила себе, что изгнание – это не краткий эпизод, проникнутый героизмом и пафосом, а долгие,

медленно ползущие годы, наполненные мелкими неприятностями. Но к этому присоединились тысячи мытарств, о которых они в Германии и представления не имели. Сколько хлопот хотя бы с такой идиотской штукой, как удостоверение личности. Сроки их паспортов истекли, а «третья империя» не возобновляет их. Сколько беготни, пока раздобудешь бумажку, на которой подтверждено и скреплено печатью, кто ты есть. Сколько часов надо простаивать у окошек, за которыми сидят брюзгливые, усталые чиновники, и мсье Дюпон отправляет тебя к мсье Дюрану, а мсье Дюран, оказывается, тут ни при чем и отправляет тебя к мсье Дюпону, и вся история начинается сызнова, а в результате обнаруживается, что дело твое в совершенно другом ведомстве. Получить постоянное разрешение на право работы почти невозможно; Анна работает у своего зубного врача без разрешения, «зайцем».

Пока они были в Германии, они и не знали, как хорошо им живется в их удобной квартире, как хорошо располагать солидным текущим счетом. Анна привыкла сводить абстрактные философские истины к простым формулам; пессимизм индийцев или Шопенгауэра, над которым долго бился Зепп и о котором он много рассказывал Анне, для нее укладывался в простую истину, что, если у тебя болит палец, ты страдаешь, но, если палец не болит, ты не испытываешь от этого радости. Этот лишенный всякой сентиментальности пессимизм теперь находил свое подтверждение в действительности. Прежде, в Германии, ей казалось естественным жить в

довольстве, в изобилии. Теперь она не плачется на перемену, но ощущает ее на каждом шагу.

За дверью что-то царапается и шуршит, почтальон просовывает в щель письма. Траутвейн тотчас же бросается к ним, вскрывает их, читает – с многочисленными «гм» и «ага». Почта довольно обильная, но Анна знает, что только очень небольшая часть писем имеет личное отношение к Зеппу, все остальное – приглашения на политические собрания, просьбы о деньгах, о рекомендациях, эмигрантские дела. Как ни плохо тебе живется, а всегда найдутся люди, которые считают тебя богатым и счастливым.

Он весь уходит в чтение писем; о присутствии Анны он совершенно забыл. Дочитав письма, берется за газеты. Каждое утро эту страстную натуру волнует и забавляет глупость мира, выпирающая из газетных сообщений. Вот он опять что-то выудил. Он прищелкивает языком.

– Нет, ты только посмотри, Анна! – У него звонкий голос, а от радости он переходит на фальцет. – Уж это – дальше некуда! – Он протягивает ей «Берлинер иллюстрирте», показывая снимок на титульном листе: властители «третьей империи» слушают концерт. Музыка обезоружила их, лица у них пустые, тупые, сентиментальные. Великолепный снимок, он обнаруживает все существо этих людей; музыка обнажила их, все их жалкое нутро вывернуто наружу. Анна невольно смеется, смеется по-детски заразительно. Ее широкое лицо с крупными белыми зубами сияет. Когда Анна

смеется, оно молодеет.

– Они могут обзаводиться какими угодно титулами, а физиономии у них все те же, – замечает она.

Зепп Траутвейн продолжает ликующе:

– Им ничего не поможет, волей-неволей они сами выставят напоказ свой позор. Этот снимок надо распространять, о нем надо писать. Я напишу, – решает он, загораясь, как юноша, весь – рвение и пыл. – Скажи-ка, – он уже готов приступить, – ты свободна? Можно продиктовать тебе статью?

Беда с этим Зеппом. Он опять забыл, что она, к сожалению, занята у доктора Вольгемута. А потом еще визит к Перейро, нельзя недооценивать этого дела насчет радиопередачи.

– С величайшим удовольствием отстукала бы тебе статью, – говорит она огорченно. – Мы, конечно, опять поругались бы. И все равно самые убийственные грубости я у тебя повычеркивала бы. Но Вольгемут, Перейро... – Она пожимает плечами, ее выразительное лицо живо отражает сожаление.

Он спохватывается.

– Ну конечно, ведь у тебя сегодня еще и визит к Перейро. Бессовестно, что я забыл, – горячо говорит он. Но в следующую минуту уже думает о другом. – Замечательная будет статья, – радуется он заранее.

Анна критически оглядывает пишущую машинку. Валик стерся, необходимо его заменить, да и еще кое-что не мешало бы исправить. Тут не только расходы: трудно обойтись без

машинки, пока ее будут чинить.

Он тем временем встает и идет в ванную умыться и побриться. Бриться он не любит, Анна с трудом добилась, чтобы он брился каждый день. Вот и сейчас он охает. Оптимист и сангвиник, он, конечно, прежде всего бреет удобную поверхность щек. Затем остается самое трудное – углы рта. Надо сжать челюсти, запрокинуть голову и глядеть в оба.

– Чертов хлам, – ругает он бритву, так как без маленького пореза дело не обходится. Но в следующее мгновение, обтирая лицо, он снова с удовольствием думает о предстоящей работе. – У меня уже руки чешутся, – кричит он, довольный, из ванной. – Новая идея для «Персов»; придется переписать пятнадцать страниц партитуры. До редакции я успею набросать, пока это свежо, самое основное. А статью продиктую там. Она еще поспеет в набор.

Анна слушает его, она гордится, что он так добросовестно работает, не позволяет себе ни малейшей небрежности, опять и опять начинает сызнова, если может хоть на волос приблизиться к цели, которую себе ставит. И вместе с тем она понимает, что практически его работа бессмысленна.

Выиграют или проиграют от переделки эти пятнадцать страниц партитуры, кому какое дело? Если с радиопередачей не выйдет, то, кроме Анны, эти несколько исправленных страниц услышат, может быть, еще три или четыре приятеля. Что за проклятая судьба, обрекающая такого одаренного человека, как ее Зепп, работать впустую! И статья насчет

физиономий, которую Зепп собирается написать для «Новостей», ему, наверное, удастся, это будет хлесткая, остроумная статья, достойная, чтобы ее прочли во всем мире, но при нынешних условиях в лучшем случае две-три тысячи читателей полминуты порадуются, что кто-то поддел берлинскую сволочь, – вот и все. Сознает ли это Зепп? Если даже и сознает, это его мало трогает. Он окрылен. Он работает так, как будто его «Персы» уже в этом году пойдут в Филармонии, а статья появится по крайней мере в «Таймсе».

Вот он выходит из ванной. Длинный и широкий халат висит на худощавой, высокой фигуре Зеппа, он очень ему идет. Когда-то халат этот был элегантен, теперь он сильно поношен. Зеппу давно следовало бы купить новый, думает Анна, но, даже когда были деньги, трудно было заставить его лично одеться; теперь же безденежье служит ему удобным предлогом не обращать внимания на свою внешность.

Он уютно усаживается в старое расшатанное клеенчатое кресло, снова берется за газеты, вытягивает ноги. Она смотрит на него. Десять минут она может еще полежать, потом начнется ее день, неприятный день, суетливый, напряженный. Эти десять минут она еще насладится покоем. Она потягивается, нежится в тепле постели, молчит. Да, как подумаешь о других, так тебе живется еще сравнительно хорошо. Чего не дала бы, например, ее приятельница Элли Френкель за то, чтобы иметь возможность поваляться так в постели, зная, что она обеспечена на несколько недель вперед.

В Берлине, до переворота, Элли на руках носили, а теперь она бьется как рыба об лед, только бы не умереть с голоду. Сколько жалких, напрасных усилий она прилагала, стараясь скрыть свое положение у Гиршбергов, и все-таки все знали, что она там не больше чем прислуга. А теперь она была бы довольна и этим. Надо как-нибудь опять встретиться с Элли.

Зепп Траутвейн между тем читает газеты, позабыв все на свете; он поджал длинные губы, и стянутый рот придает ему озабоченный и чуть-чуть смешной вид. Выражение его лица быстро меняется, отражая целую гамму ощущений. Он то ворчит про себя, то издает какое-то короткое рычание, то покачивает головой.

– Идиоты! – Затем опять чему-то кивает и говорит убежденно: – Великолепно! – Вдруг он прерывает себя, лицо его озаряется, угловатой неловкой походкой идет он к письменному столу и, насвистывая, усиленно качая в такт головой, записывает какую-то мысль, которая только что пришла ему в голову.

Анна, вздыхая, подымается с постели. Приводит в порядок обе комнаты. Потом идет в маленькую, очень узкую ванную; ванная служит ей и кухней, это неудобно и неаппетитно, но что поделаешь? Анна накладывает румяна и пудрит-ся, молча, тщательно. Отражение в зеркале мутное и нечеткое, зеркало плохо освещено, но достаточно хорошо видно, что черты лица у нее расплылись, глаза потускнели. Будь она господин Перейро, ей эта Анна не понравилась бы. Правда,

никогда нельзя знать, на что реагирует мужчина. Когда она хорошо настроена, когда она смеется, показывая свои красивые, крупные белые зубы, то производит впечатление еще совсем молодой.

Анна готова, надевает пальто. Она стоит – стройная, чуть-чуть пополневшая, но еще такая яркая, такая представительная; нужен наметанный женский глаз, чтобы увидеть, каких стараний стоило прикрыть места, где вытерся мех на шубе.

– Надо заранее приготовить нотный материал, на случай если состоится радиопередача, – говорит она. – Иначе в последнюю минуту из-за такого пустяка все может провалиться.

Он с трудом отрывается от своих мыслей, бормочет что-то вроде «гм» и «ну, конечно, как знаешь». Но она настаивает.

– Это обойдется довольно дорого, – деловито добавляет она.

– Я подумаю, – говорит он со скукой в голосе, чуть ворчливо. Тогда она решительно заявляет:

– Лучше уж я поговорю с мсье Перейро. Для него это пустяк.

Зеппу неприятно.

– Стоит ли этого вся затея? – говорит он нерешительно.

– Да, стоит, – твердо заключает она.

Она поворачивается, собираясь уходить. Но тут он поднимается и, должно быть, только теперь видит ее по-настоящему.

– Ты великолепна, – восхищается он, искренне любуясь ею. – И как только ты ухитришься, не понимаю. Смотри, не очень надрывайся, старушка, – советует он ей сердечно, с выражением дружеской заботы на худощавом лице. Он называет ее «старушкой», произнося всю фразу на баварском диалекте, отчего она звучит как интимная ласка, и, улыбаясь, прибавляет: – Мне не следовало этого говорить, но, право, если ничего не выйдет с дурацким радио, особенно горевать не буду. Значит, до свиданья, старушка, желаю успеха. И кланяйся Перейро, но только в том случае, если он твердо скажет «да».

С ее уходом он почувствовал себя особенно славно. Он привязан к Анне. Когда ее нет дома, он очень скоро начинает ощущать ее отсутствие; с теплым чувством думает он о том, как часто она была ему опорой в хорошие и плохие времена, вспоминает о бесчисленных часах общей работы и общих радостей. Но когда живешь втроем в двух комнатухах, когда день и ночь сидишь друг у друга на голове, то совсем не худо иногда побыть одному. Он стремительно шагает взад и вперед, это нелегко в тесно заставленной комнате, но он лавирует между вещами. Он всецело поглощен своими мыслями, шум за стеной и на улице нисколько ему не мешает.

Благословенное утро сегодня, он на целых два часа предоставлен самому себе. Не такое уж расточительство, если он позволит себе побездельничать и немного поразмыслить. Время от времени ему это необходимо, это действует на него

благодарно, иначе невозможно было бы жить.

Он садится в расшатанное клеенчатое кресло, сидит в неудобной позе, но ему удобно. Тихо тикают часы, красивые часы, которые удалось вывезти из Германии; минуты бегут, а он размышляет. Время от времени необходимо произвести внутреннюю инвентаризацию. Без всякого педантизма, конечно, ни-ни, без точных формулировок. Но все же у него есть своего рода мерило: он пытается отдать себе отчет в том, вырос ли он как художник за эти два года жизни в изгнании.

Анна иногда утверждает, что, по-видимому, «Персы» теперь еще дальше от завершения, чем два года назад, и до известной степени она права. И все же он шагнул вперед. Он стал еще строже к себе, он почти так же строг, как Анна; он работает еще медленнее, но лучше, правильнее. Честно испытывая себя, он может сказать, что ни на волос не заботится о внешнем впечатлении, что творит не ради успеха, а ради самого творения.

Он посмеивается над Анной, над ее хлопотливостью, ее энергичными усилиями добиться исполнения «Персов» по радио. Она ведь знает, что может дать такая радиопередача. То, чего он добивается, можно выжать даже из хорошего оркестра лишь после многих репетиций. Как же он вырвет желанное у равнодушных оркестрантов при двух-трех наспех проведенных репетициях? Если бы ему и удалось добиться приличного исполнения, слушатели не готовы к восприятию его музыки. Их уши и сердца закупорены салом и грязью де-

шевых, вульгарных, сентиментальных и трескучих мелодий. Напрасный труд. Из десяти слушателей восемь воспримут его музыку как кошачий концерт, один вежливо попытается что-то понять, и лишь один, может быть, действительно поймет.

Зепп Траутвейн сидит в своем продавленном кресле. Неплохо было бы со стороны послушать собственную музыку. Но внутренним слухом он слышит ее – это не воображение, это так и есть. Мелодия, которую он нашел сегодня утром, звучит в нем. Он слышит стихи Эсхила и их музыку, слышит громкий грозный боевой клич греков, которые приканчивают барахтающихся в море персов, слышит горестные вопли тонущих, их «ай-ай» и «у-лу-лу», весь этот экзотический разноголосый вой, он не работает, и все же звуки с невероятной интенсивностью струятся вокруг него, в нем. Он сидит с невидящим взглядом, с отсутствующим выражением лица и, слушая тихое тиканье стенных часов, напряженно вслушивается в себя, в этот внутренний поток.

Нехотя, с коротким вздохом, он встает, садится за письменный стол, работает методически, упорно, сосредоточенно, для того чтобы втиснуть свои неподатливые фантазии в проклятые пятилинейные строчки нотной бумаги.

2

«Парижские новости»

За удачным утром следует удачный день.

В редакции «Новостей» Зепп Траутвейн, невзирая на ворчание коллег, получает в свое распоряжение Эрну Редлих, машинистку и секретаршу, с которой он охотнее всего работает. Он в ударе, к тому же статья о физиономиях правителей «третьей империи», слушающих музыку, открывает перед ним возможность говорить о вещах, больше всего волнующих его, – о музыке и политике. В статье есть та хлесткость, та крепкая мюнхенская терпкость, которую он хотел придать ей.

Но в редакции довольно много срочного материала, сомнительно, что статью дадут в очередной номер, если Траутвейн не нажмет. Своей неловкой походкой, носками внутрь, он проходит в кабинет к Францу Гейльбрану, главному редактору.

Достаточно закрыть за собой большую, обитую войлоком дверь, отделяющую голые редакционные комнаты от кабинета Гейльбрана, чтобы очутиться в совершенно другом, прежнем мире. В Берлине Гейльбрун, главный редактор «Прейсшице пост», наиболее видной столичной газеты, пользовался большим влиянием; когда он там держал себя вельможей, его величественные слова и жесты соответствовали его по-

ложению. Здесь же, в редакции «Парижских новостей», или «ПН», как их повсюду называли, жесты эти производили скорее смехотворное впечатление. Но, прекрасно сознавая это, Гейльбрун не мог отделаться от повадок вельможи – он был король в изгнании, и Траутвейн с присущей баварцу живостью воображения мысленно сравнивал барственный, величавый стиль Гейльбруна с непомерно широким костюмом на сильно похудевшем человеке. Вот и сегодня Траутвейн, улыбаясь про себя иронически и добродушно, дивится тому, как Гейльбрун сумел превратить большое неприветливое канцелярское помещение в место, где можно «принимать», и, при всем убожестве комнаты, придать ей особый отпечаток какой-то легкой, изящной жизни. Тут были и дорогой ковер, правда очень миниатюрных размеров, и удобная софа, и внушительный письменный стол хорошего дерева; повсюду лежали сигареты, несмотря на опасность, что кто-либо из голодной публики стянет их.

При входе Траутвейна главный редактор Гейльбрун не вынимает сигары из большого чувственного рта. Но Траутвейн не обращает на это внимания; у него с Гейльбруном хорошие отношения, их объединяет общность политических взглядов, оба они отличаются терпимостью и в то же время горячностью. Впрочем, Франц Гейльбрун, как это с ним часто бывает, не выспался. Ему шестьдесят лет, он работает с удовольствием, но и живет он в свое удовольствие, ему не хватает дня и особенно ночи.

– Ну, милый мой, – встречает он Траутвейна, – что вы нам хорошего принесли? – И широким жестом указывает Траутвейну на удобное кресло для посетителей. Траутвейн протягивает ему рукопись, Гейльбрун читает, усмехается. – Хорошо, крепко, терпко, по-баварски, – говорит он. – Многовато только у вас «задниц», «пачкунов» и прочего. Хорошо бы вычеркнуть несколько штук, тогда выиграют те, что останутся.

– Ладно, – миролюбиво говорит Траутвейн. – Сейчас вычеркну и сдам в набор на тот случай, если статья пойдет в следующем номере.

– Конечно пойдет, – отвечает Гейльбрун.

– Ведь есть срочный материал, – благородно замечает Траутвейн.

– Хорошая статья – всегда срочный материал, – говорит Гейльбрун. – К сожалению или к счастью, как вам угодно, здесь у нас нет такой нужды в злободневном материале, как в Берлине.

Пока Гейльбрун читал статью и пока велась эта короткая беседа, он казался оживленным; сейчас он снова размяк, и его большая квадратная голова с седыми, коротко стриженными жесткими волосами никнет от усталости.

Траутвейн простился и уже собирался уходить, когда вошел Гингольд, издатель.

– А, наш дорогой сотрудник, – с деланой любезностью сказал господин Гингольд и протянул Траутвейну руку, плотно

прижимая локоть к туловищу.

– «Дорогой»? – откликнулся Траутвейн. – Это при ваших-то гонорарах?

Он неохотно говорил о денежных делах, но Гингольд с его фальшиво-любезной улыбочкой, гнилыми зубами и тихими, кошачьими ужимками принадлежал к числу тех немногих людей, к которым он питал открытую антипатию. Жесткое, сухое лицо Гингольда, четырехугольная, черная с проседью борода, маленькие глазки, пристально глядящие из-под очков, подчеркнута старомодный костюм, длинный сюртук и башмаки с ушками – все в этом человеке раздражало обычно терпимого Траутвейна.

– Повысить гонорар – моя мечта с тех пор, как я основал эту газету, – ответил Гингольд, улыбаясь еще шире и стараясь придать своему скрипучему голосу мягкий, ласковый оттенок; его трескотня, его интонации раздражали музыкального Траутвейна. Наглое утверждение Гингольда, что он основал газету, тоже злило Траутвейна; ведь всему свету известно, что «Новости» – целиком дело рук Гейльбруна, начиная с самой мысли создать газету и кончая ее осуществлением. Гингольд лишь финансировал это предприятие, да и то на условиях жестокой эксплуатации. Траутвейна удивило, что Гейльбрун пропустил мимо ушей слова Гингольда.

– Но, – продолжал Гингольд, – вы сами знаете, сколько всяких затруднений встречает вопрос о повышении гонорара. – И он пустился в пространные объяснения по поводу

того, что вынужден опять сократить гонорарную сумму на фельетоны; с этим, мол, он и пришел к Гейльбруну.

Гейльбрун не ответил – возможно, что в присутствии Траутвейна он не хотел доводить дело до спора, – и Гингольд не стал настаивать; он без стеснения взял из рук Траутвейна его рукопись.

– Статья для нас, как я понимаю, – сказал он. – Я вижу это по шрифту, – пояснил он. – Напечатано на нашей машинке. – Он кисло улыбнулся: он не любил, чтобы внештатные сотрудники обращались к его машинисткам. Если бы он сказал какую-нибудь резкость, Траутвейн не остался бы в долгу. Но Гингольд понял это и благоразумно воздержался от дальнейших колкостей. Статья так и осталась у него в руках. Точно жадные крысы, забежали по строчкам жесткие глаза Гингольда, вгрызлись в одно место, побежали дальше, вгрызлись в другое. Все молчали. Наконец он дочитал.

– Очень хорошо, – заключил он. – Очень хорошо сказано. – И он рассыпался в плоских похвалах. – Но, – продолжал он, и в его скрипучем голосе вопреки его желанию появились властные нотки, – я бы вам посоветовал: вычеркните кое-какие грубости, – и, водя по строчкам несгибающимся пальцем, он прочитал вслух то, что ему не понравилось. В его устах это прозвучало действительно скабрёзно, плоско. – Вы пользуетесь этими крепкими словами для характеристики человека, который юридически все же является главой государства, – пояснил он. – Нас не очень-то любят, и

могут выйти всякие неприятности. Но все эти места и сами по себе не очень хороши; по моему скромному мнению, они недостойны вас, дорогой Траутвейн. И моим читателям они тоже не понравятся.

Траутвейну они и самому уже не нравились, но комментарии Гингольда и это наглое «моим читателям» вывели его из себя.

– Благодарю за поучение, – запальчиво сказал он своим звонким голосом. – Но я просил бы предоставить мне самому выбирать литературную форму для своих работ.

– Мы с Траутвейном уже раньше пришли к соглашению, что кое-какие «задницы» и «пачкуны» будут вычеркнуты, – примирительно сказал Гейльбрун.

– Я не хотел вас обидеть, – мгновенно переменял тон Гингольд, испуганный вспыльчивостью Траутвейна. – Наш всегдашний *enfant terrible*², – прибавил он, пытаясь изобразить на своем лице сочувственную, успокаивающую улыбку. Но взгляд, каким он проводил Траутвейна, когда тот пошел к двери, был отнюдь не любезным.

Траутвейн досадовал на себя. Следует лучше владеть собой, не так вызывающе держать себя с Гингольдом. Анна, безусловно, осталась бы им недовольна и была бы вполне права. Заниматься политикой, открыто высказывать свое мнение, писать о том, что накипело, – все это очень хорошо. Но к сожалению, при этом приходится иметь дело с малопри-

² Озорник(*фр.*).

ятными личностями. «Я покинул Германию, чтобы не плясать под дудку Гитлера. Не для того ли, чтобы теперь плясать под дудку господина Гингольда?»

Он собрался уже покинуть редакцию и пошел к выходу, раздраженно и рассеянно глядя перед собой.

– Алло, Зепп, – вывел его из задумчивости чей-то голос. – Куда? Обедать? Пойдемте вместе. – Траутвейн колебался. Очень кстати было бы в беседе смыть накипевшую досаду, а живой, блестящий Фридрих Беньямин был для этого самым подходящим партнером; но Анна ждала его к обеду, и он боялся истратить лишние деньги в ресторане. А Фридрих Беньямин настаивал: – Пойдемте. Мне все равно надо поговорить с вами. У меня есть к вам товарищеская просьба. И не разводите церемоний, Зепп. Само собой, вы мой гость.

Траутвейн уступил, позвонил в гостиницу «Аранхуэс», что не будет к обеду, пошел с Беньямином.

Тот повел его в фешенебельный, несомненно, дорогой ресторан «Серебряный петух», куда Траутвейн сам никогда не решился бы пойти. Беньямин выбирал блюда обстоятельно, со знанием дела, осведомлялся у Зеппа, чего тот хочет, упрекая его, что он уделяет недостаточно внимания еде. Траутвейн ел, по обыкновению, рассеянно; он привык к тому, что жена как-то кормила его на те скудные средства, которыми они располагали. Единственное, чего ему хотелось, чего ему здесь, в Париже, не хватало, – это некоторых сытных баварских блюд. Он предпочел бы сидеть с Рихардом Штраусом у

«Францисканца», запивая «мартовским» пивом вареные или жареные сосиски, вместо того чтобы в обществе Фридриха Беньямина лакомиться устрицами и шабли во французском кабаке. Но с «Францисканцем» и Рихардом Штраусом покончено. Звезд с неба он не хватает, наш Рихард Штраус, – разумеется, это не относится к его музыке, иначе он не остался бы у нацистов, а был бы, вероятно, здесь.

Беседа с Беньямином, несомненно, обогащает. Пусть Фридрих Беньямин всего лишь журналист. Но какой журналист. Чего он только не знает. Как логичны его выводы, как блестяще умеет он подать великое и малое так, что все предстанет в новом свете. Зепп Траутвейн перечисляет про себя достоинства Беньямина, как он это часто делает, стараясь отдать ему должное; ибо, по существу, Беньямин ему неприятен. Слишком уж он высокого мнения о себе и своей работе. И Зепп Траутвейн, выкладывая, по обыкновению, все, что у него на душе, в десятый раз повторяет ему, что «все мы» преувеличенного мнения о своей особе. Ведь пишем мы или не пишем – какое влияние это оказывает на политические события?

Пока Траутвейн излагал все это весьма обстоятельно и по свойству своего сангвинического темперамента громко, с мюнхенскими интонациями, так что сидевшие вокруг французы оборачивались, Фридрих Беньямин сидел против него, ел. Он ел медленно, со вкусом, и время от времени пил маленькими глотками. Иногда он бросал что-нибудь в таком

роде:

– Ешьте, Траутвейн. Жаль, ведь рыба у вас остынет.

Он не перебивал Зеппа. Лишь изредка, когда тот отпускал какое-нибудь особенно крепкое словцо, он вскидывал свои красивые карие выпуклые глаза, резко выделявшиеся на умном лице. Когда Траутвейн смотрел в эти глаза, светившиеся над большим изогнутым носом, словно готовые выпрыгнуть, грустные, немного клоунские и в то же время неистовые, полные фанатического огня, он испытывал какую-то тягостную неловкость и силился не потерять нить мыслей.

Наконец он умолк. Беньямин спросил:

– Вы кончили? – И в ответ на утвердительный кивок Траутвейна сказал: – Прекрасно, в таком случае доешьте прежде всего свою рыбу.

Беньямин умел быть злым, он умел издевательски-логично доказать, на какой зыбкой почве строится ныне всякая вера и надежда, но при всем том обладал обаянием и юмором, а усердие, с каким он расхваливал своему гостю различные блюда, говорило о его врожденном радушии.

На протяжении всего обеда он ни разу не ответил на нападки Траутвейна. Лишь за кофе, видимо вместо ответа, неожиданно спросил:

– Вы читали сегодня мою статью о двух женщинах, которым Гитлер приказал отрубить головы?

– Да, – сказал Траутвейн.

Это была одна из лучших статей, когда-либо написанных

Беньямином. И хотя Траутвейн не любил эффектов, к каким прибегал Беньямин, статья взволновала его. Беньямин прежде всего логически доказал, что обе женщины казнены исключительно потому, что слишком много знали о резне, устроенной Гитлером тридцатого июня. Затем дал потрясающее описание самой этой зверской расправы.

Читатель видел перед собой обеих женщин как живых; перед ним ясно вставала картина, как их тащат связанных к плахе, словно во времена Средневековья; он видел палача, топор, затылки женщин, заботливо подготовленные к принятию удара. Траутвейн, как профессионал, оценил деталь, приведенную в этом месте Беньямином: женщинам с немецкой основательностью выбрили затылки. И еще многое ему запомнилось. Например, описание лица диктатора, когда тот отклоняет прошение о помиловании и подписывает приговор своим корявым почерком, почерком невежды. Траутвейн мог поэтому, не кривя душой, со знанием дела, похвалить статью Беньямина.

Беньямин, слушая, смотрел на него в упор фанатическим, сосредоточенным и в то же время отсутствующим взглядом. Он маленькими глотками прихлебывал кофе, и в эту минуту его круглое, пухлое, неприятно улыбающееся лицо особенно напоминало грустную клоунскую маску.

– Спасибо на добром слове, коллега, – сказал он с шутковским поклоном, когда Траутвейн кончил. – Всегда приятно выслушать похвалу, но я спросил не с этой целью. Мне

просто хотелось проверить, доходит ли то, что я хотел вложить в свою статью. Я вижу, что доходит, значит она удалась. Позвольте же мне, – продолжал он, подняв в знак протеста небольшую волосатую руку, так как Траутвейн собирался возразить, – повторить в применении к этой статье все то, о чем вы говорили в начале нашего завтрака. Вы совершенно правы. Что достигнуто этой удачной статьей? Ничего не достигнуто. Двух женщин нет в живых, их тела вскрыты, отрубленные головы давно искромсаны прозекторами. На одно мгновение мир содрогнулся и плюнул от отвращения. Но сейчас, спустя десять дней, эта гнусность уже забыта, и моя статья бессильна что-нибудь изменить. Я иду еще дальше, чем вы. Пусть бы сегодня явился в наш мир Шекспир или Данте и написал пламеннейшие стихи о варварстве нацистов, пусть бы какой-нибудь Свифт или Вольтер в злейшей сатире высмеял отсутствие у них ума и вкуса, пусть бы Виктор Гюго писал об этом вдохновеннейшие статьи – все равно ничто не изменилось бы. Спустя две недели зверская казнь двух женщин стала бы достоянием прошлого, забылась бы так, как будто со времени ее прошли тысячелетия. На что же могу рассчитывать я, маленький Фридрих Беньямин, с моими, с позволения сказать, «Новостями» и моим вечным пером? Ведь вы это хотели сказать, милейший мой Траутвейн? Или я вас неправильно понял?

Траутвейн был поражен. Беньямин действительно выразил его мысль, и выразил много лучше и острее, чем он это

сделал бы сам, с циничной покорностью человека, знающего, что он только Дон Кихот. Траутвейн почувствовал к нему уважение, и вместе с тем в нем шевельнулось сознание какой-то вины. По-видимому, в нем, Траутвейне, говорило высокомерие художника. Художник имеет право – таков был тайный смысл его слов – работать даже тогда, когда он не ставит перед собой конкретной Цели, работать для того, чтобы выразить свое «я» в искусстве и сделать его достоянием всех, и это сообщает его работе смысл; а деятельность журналиста получает смысл только в тех случаях, если она преследует определенные, достижимые цели. Этот Фридрих Беньямин, оказывается, знал не хуже, чем он, насколько в самом лучшем случае ничтожны результаты его работы, и то, что, зная это, он все же продолжал работать, сообщало ему достоинство, значительность. Он, Траутвейн, следовательно, несправедлив по отношению к нему. Ему стало стыдно.

– В Берлине, – размышлял вслух Беньямин, – наши иллюзии имели под собой более твердую почву. Мы могли наблюдать хотя бы некоторое действие своих статей. Их цитировали в Лондоне, Париже, Нью-Йорке. Вносились интерpellации, поднимался шум. Можно было вообразить, что твои выступления вызовут какие-то перемены. А теперь мы пишем в пустоту. Те, кто нас читает, согласны с нами заранее, а до тех, кто колеблется или вовсе не имеет своего мнения, наше слово не доходит.

Красивыми грустными глазами он смотрел то прямо пе-

ред собой, то в лицо Траутвейну, то куда-то в зал.

«Чего ради он сидит в этом дорогом ресторане? – подумал Траутвейн, и мимолетное чувство стыда снова сменилось неприязнью. – Ему за этот кутеж придется уплатить по меньшей мере франков восемьдесят. Он из мещанской еврейской семьи, откуда-нибудь с Рейна или Майна. И верно, из кожи лезет вон, не спит ночей, чтобы иметь возможность вести такую жизнь. Можно пообедать и за восемь франков, а есть эмигранты, которые довольны, когда у них есть на обед два франка. Зачем же Фридриху Бенъямину выбрасывать на ветер восемьдесят франков?»

На лице Бенъямина блеснула улыбка. Траутвейн знал ее. Иногда, неожиданно, она появлялась на этом лице, мудрая, покорная, грустная, в сокровенной глубине своей ироничекая, озаряющая мир и Фридриха Бенъямина, как солнце озаряет лужу, расцветивая ее всеми цветами радуги. Итак, Фридрих Бенъямин улыбнулся, поднял рюмку с коньяком и, задумчиво разглядывая ее, сказал:

– Было бы, конечно, глупо, если бы я возомнил или попытался внушить вам, будто я пишу потому, что надеюсь этим содействовать изменению мирового порядка. Я не надеюсь. И пишу не потому. – Он выпил коньяк и сказал тихо, но выразительно: – Я одержимый журналист, вот и все. Я не могу молчать, я должен высказаться, хотя бы это не имело никакого смысла и не оказывало никакого влияния. Я хорошо знаю, что спорить бесполезно; тот, кто на нашей планете спорит,

восстанавливает против себя все и вся. Кроме того, в нашем многообразном мире это предприятие столь же бессмысленно, сколь безнадежно. И все-таки я хочу спорить, дорогой Зепп, я не могу не спорить. Это для меня важнее, чем есть и пить.

Корректному Траутвейну такое откровенное саморазоблачение было несимпатично, несимпатичен был ему и голос Беньямина, а уж его манера говорить «Зепп» – и подавно. Но против улыбки Беньямина он не мог устоять. Как этот человек видит себя насквозь и как он себя высмеивает – это просто великолепно.

К сожалению, вспышка критического отношения к себе длилась у Беньямина недолго.

– Все же, – продолжал он после короткого молчания, – мне служит утешением мысль, что мою статью прочтут на Кэ д’Орсэ и на Даунинг-стрит и что двадцать экземпляров «ПН» поступают в берлинское министерство пропаганды. Конечно, господин «министр рекламы» далеко не так хорошо разбирается в стилистических тонкостях, как вы, Зепп; но все-таки приятно представить себе его физиономию в те минуты, когда он читает мою статью. – Он говорил тихо, самодовольно, и Траутвейна это раздражало. Сидящий против него человек на самом деле не больше чем заядлый спорщик, а его саморазоблачение – кокетство и кривлянье; он напрашивается на комплименты.

Вести жизнь, о пустоте которой он умеет так хорошо го-

ворить, его заставляет, по общему мнению, Ильза. Что побудило ее, красивую, изящную, богатую Ильзу, выйти замуж за неказистого Фрицхена, не имевшего никакого веса в обществе, не понимает никто. Она странная особа. Изменяет ему направо и налево; Зепп Траутвейн не раз был, к своему огорчению, свидетелем того, как она третирует мужа. Но посмей это сделать кто-нибудь другой, и она готова выцарапать глаза насмешнику. Беньямину нелегко с ней. Очень может быть, что он предпочел бы жить скромнее, без забот, и прожигать жизнь – для него скорее обязанность, чем удовольствие.

Беньямин закурил сигару.

– Послушайте, Траутвейн, – он придвинулся ближе, – вот о чем я вас хотел просить. Мне необходимо на несколько дней уехать. Не ради удовольствия. Мне обещают достать настоящий паспорт. А у вас, кстати, бумаги в порядке? – перебил он себя.

– Срок моего германского паспорта скоро истекает, – ответил Траутвейн. – Жена уже предприняла шаги, чтобы достать мне какую-нибудь бумажку. Я предоставляю ей заниматься этими делами, она справляется с ними лучше меня.

– Вам повезло, – вздохнул Беньямин, – если бы я попросил о чем-нибудь таком мою Ильзу, ничего хорошего не получилось бы. Во всяком случае, удостоверение личности, которым я пользуюсь сейчас, никуда не годится для человека, вынужденного часто разъезжать. А я вынужден много ездить. Иначе я не соберу материала для своей «Трибуны».

Будь у меня настоящий паспорт, все было бы проще, я мог бы попытаться поставить как следует журнал и бросить работу в «ПН». Смешно сказать, сколько усилий нужно потратить для того, чтобы какой-то чиновник удостоверил за подписью и печатью, что ты именно тот, кто ты есть. На примере терзаний беспаспортного человека видно, какая пустая болтовня все эти международные совещания, соглашения, Лига Наций и тому подобное. Хоть на стену лезь. Не додумались еще даже до того, чтобы установить единую международную форму удостоверения личности. Сотни людей погибли за последние несколько лет только потому, что им не удалось обзавестись необходимыми документами.

Слова Беньямина напомнили Траутвейну разговоры о повседневных мелочных заботах, которыми допекала его Анна. Все это отвратительно, что и говорить, но он принял это к сведению как общее положение раз и навсегда, и детали его не интересуют.

– У вас, значит, есть виды на получение настоящего паспорта? – спросил он сухо, рассеянно, пресекая разглагольствования Беньямина.

– Да, – отвечал тот. – Но для этого мне нужно на несколько дней съездить в Базель. Я уже говорил со стариком об отпуске. Он, конечно, артачится. Но я добился от него обещания, что он отпустит меня, если я найду себе хорошего заместителя. – Он взглянул на Траутвейна, улыбнулся и продолжал скромным и милым тоном, по-товарищески: – Вот я

и обращаюсь к вам, Зепп. Окажите мне эту услугу.

Траутвейн испытывал двойственное чувство. Было бы очень приятно заработать несколько лишних сотен франков, хорошо бы вручить Анне эти бумажки. Кроме того, однажды он уже оказал подобную услугу и ему неудобно отказать такому человеку, как Беньямин, в этом пустяке. С другой стороны, работать в «Парижских новостях» в качестве редактора неприятно, он знает это по собственному опыту, с тех пор как замещал редактора Бергера. Пока ты только сотрудник, ты сам себе хозяин, в качестве же редактора нужно согласовывать свои действия с другими, а с Гингольдом работать нелегко. И «Персов» придется отложить в сторону, а сегодня утром он работал с таким увлечением.

– На сколько же дней вы едете? – спрашивает он, колеблясь.

– Я вернусь через четыре, самое позднее – через пять дней, – живо ответил Беньямин. – Сделайте мне это одолжение. Мы тут с вами здорово ругали нашу работу, называли ее бессмысленной, – добавил он, улыбаясь. – Но когда вы сядете за мой письменный стол, вы увидите, что, в сущности, наши придирки несправедливы, почувствуете резонанс, действие нашей работы. Вы, наверное, уже подметили это, когда замещали Бергера. Условия работы в «Новостях» отвратительны; но какое счастье, что у нас есть этот листок и что мы можем работать в нем.

Он говорил без всякого пафоса, но улыбка и одержимость

этого человека произвели впечатление на Траутвейна. Бенъямин едет на пять дней, он не подведет.

– Очень сомневаюсь, что Гингольд согласится на такую замену, – привел он еще одно полувозражение, больше для проформы, чем по существу. – Мы с ним никогда не сходимся в мнениях.

– Значит, вы согласны, – радостно установил Бенъямин. – Спасибо, Зепп. Я сейчас же позвоню Гингольду.

Траутвейн, оставшись один – Бенъямин пошел звонить, – откинулся на спинку стула и непринужденно вытянул ноги. Рассеянно оглядывал он зал, посетителей, официантов. В голове у него звучала мелодия из «Персов», которую он нашел сегодня утром. Собственно говоря, не следовало бы бросать «Персов». Какой неприятный, жирный голос у этого Бенъямина. Не говоря уж о внешних побуждениях, большой соблазн поработать несколько дней в «Новостях». Можно многое узнать и кое-что сделать.

Бенъямин вернулся.

– Все улажено, – сказал он.

Человек едет в спальном вагоне навстречу своей судьбе

В тот же день вечером Фридрих Беньямин стоит у окна спального вагона; он в котелке, во рту у него сигара, на лице легкая, кривая усмешка, не имеющая ничего общего с той улыбкой, которая порой так красит его. Не любит он прощальных сцен. Беспомощно мнетяся у открытого окна. Прохладный мартовский воздух врывается в вагон.

Беньямин разговаривает с Ильзой, своей женой. Все, кто видят их, удивляются, что этот малосимпатичный мужчина и эта красивая женщина, видимо, муж и жена. У него, вероятно, много денег.

Их у него нет. В сущности, ему следовало бы двадцать раз подумать, прежде чем позволить себе поездку в спальном вагоне. Он не подумал ни одного раза – таков уж он.

Ильза смеется, запрокинув голову. У нее большой рот с красивыми зубами, лицо славянского типа. Она весело болтает, иногда у нее незаметно прорывается саксонский акцент, она говорит всякую ненужную чепуху: чтобы он остерегался простуды, чтобы часто телеграфировал, но только не звонил по телефону, телефонный звонок всегда бывает не вовремя – когда спишь, сидишь в ванне или что-нибудь в

этом роде. Он третий или четвертый раз повторяет ей, что вернется в воскресенье вечером или, самое позднее, в понедельник утром. Ему очень хотелось бы подробно посвятить ее в свои планы. Он полон ими, а ей он рассказал о них только в общих чертах, о том, что он намерен встретиться с Дитманом, который обещал достать ему паспорт. Он воздержался от подробных объяснений, он знает, что детали Ильзу не интересуют; самое большее, что может ее интересовать, – это день его возвращения. И так как память у нее слабовата, он с тихой настойчивостью повторяет ей точную дату. Ее день очень заполнен, он знает это; иногда лучше не знать точно, чем он заполнен. Во всяком случае, он неустанно твердит ей, что вернется в Париж тогда-то.

– Ах, голубчики мои, – спохватывается она, заговаривая вдруг с сильным саксонским акцентом, – только теперь я вспомнила, что хотела тебе сказать. В пятницу – премьера с Марлен Дитрих. Ты мог бы и без напоминания позаботиться о билетах. По крайней мере хоть теперь не забудь об этом, когда будешь звонить с дороги в «ПН». Иначе я достану себе билеты другим путем, – грозитя она.

Наконец поезд трогается. Он еще некоторое время машет ей, затем отходит от окна. Это доброе предзнаменование, что он один в купе. Он дает проводнику на чай, чтобы тот никого к нему не сажал. Затем отправляется в вагон-ресторан. Есть ему не хочется, и, в сущности, надо было бы немного поэкономить. Но этот час, перед тем как лечь, приятнее всего про-

вести в вагоне-ресторане, а над его соображениями насчет экономии Ильза только посмеялась бы.

Поезд мчится, упруго и равномерно раскачиваясь. Вагон-ресторан переполнен, в воздухе стоит приглушенный гул. Беньямин, как всегда, удивляется ловкости, с какой официанты обслуживают публику в быстро несущемся поезде.

Охотно или неохотно покинул он Париж? Его слегка беспокоит, что он вынужден был прервать работу в «Новостях». Ради одного только паспорта он не поехал бы в Базель. Но материал, о котором писал Дитман, вместе с паспортом – это уж стоит поездки, и он заранее радуется встрече с Дитманом. Есть многое такое, чего в письме не напишешь, а в иных случаях только устные комментарии бросают настоящий свет на дело.

Тот, кто жарил эту курицу, явно переусердствовал. Беньямин лениво ковыряет куриную ножку и в конце концов бросает ее наполовину недоеденной. Сегодня перед Траутвейном он умалил себя и свою работу. Он это часто делает. Но только для того, чтобы вынудить у собеседника подтверждение своих заслуг, а заслуги у него, несомненно, есть, и тот, кто когда-нибудь серьезно займется историей Веймарской республики, не сможет не упомянуть о них. Он больше, чем кто-либо, содействовал раскрытию тайного вооружения Германии и связанных с ним политических убийств. Ему пришлось немало вытерпеть. Господа из генерального штаба были жестокими и сильными противниками, они ни-

чего не прощали, без конца преследовали его процессами, травили. Нелегко было все эти годы терпеть нападки множества газет, поносивших его как «предателя и изменника родины». Он задумчиво потягивает свое вино.

Тогда все, что он делал, имело полный смысл; тогда имело полный смысл стремиться к тому, чтобы Германия из милитаристского полицейского государства стала индустриальной и культурной страной. Вряд ли кто-нибудь будет это оспаривать. Но если он теперь старается доказать, что германский генеральный штаб готовится к войне, есть ли еще в этом какой-нибудь смысл? Какая польза без конца показывать людям, которые не хотят видеть, без конца втолковывать людям, которые отказываются слушать, что нынешняя Германия стремится огнем и мечом утвердить в Европе свою гегемонию? Лезть в этом случае из кожи вон – значит продолжать деятельность, которая давно потеряла свой смысл; так продолжает часами биться сердце лягушки, а туловище, из которого оно вынуто, давно мертво.

Вздор. Имеет смысл или не имеет, он не может не писать. Из своего четырехлетнего пребывания на фронте он вынес жгучую ненависть ко всякому проявлению милитаризма. В этой ненависти – пафос его жизни. Он не мыслит себя без этой ненависти; его противники утверждают, будто его безоговорочный пацифизм, его непоколебимый антимилитаризм приводят как раз к обратному; люди, подобные ему, приближают войну, вместо того чтобы ей препятствовать. Но

с тех пор, как он вернулся домой после ужасов фронта, он больше не может не писать против милитаризма. В течение последних семнадцати лет понятия жить и писать на эти темы для него нераздельны.

Маленькими глотками попивает он кофе. Статья о двух «шпионках» удалась ему, даже Траутвейн при всей его скрытой неприязни признал, что она отлично сделана. А у него ведь было очень мало материала. О, насколько лучше обстояло у него с информацией в Берлине. Когда придаешь такое большое значение точным данным, от отсутствия их сильно страдаешь. Надо надеяться, что материал, обещанный Дитманом, стоящий. Ему, Бенъямину, очень хочется выпустить еще один номер «Трибуны», за который он мог бы полностью нести ответственность.

Он сунул в карман сдачу со стофранковой бумажки. Поездка в Базель обойдется недешево. Он встал, чувствуя приятное тепло от бургундского; бросаемый из стороны в сторону мчащимся поездом, вернулся в купе.

Постель уже приготовлена. Он запер дверь, наслаждаясь одиночеством. Открыл окно, чтобы перед сном еще немного подышать свежим воздухом. Разделся, кое-как разместил снятые с себя вещи, умылся, почистил зубы. Три створки туалетного зеркала отразили его лицо, желтое, одутловатое, потное. Оно не понравилось ему. Но глупым, во всяком случае, его нельзя назвать, этого не могли утверждать даже германские генералы, его враги. Он принял снотворное – без

снотворного он не засыпал в поезде – и таблетку пирамидона, чтобы проснуться завтра без головной боли. Включил настольную лампу, выключил верхний свет. Разозлился, как всегда, что одеяло так крепко зажато между диваном и стеной. Вытащил его оттуда, вытянулся удобно, закутался.

Так, теперь все в порядке, все хорошо. «О королева, как прекрасна жизнь!» Только дороговата. Одна поездка – он уж знает себя – обойдется ему около четырех тысяч франков. Дитману на покрытие расходов придется тоже дать тысячи две-три, еще две тысячи уйдут на паспорт. Это много – и это мало. В Берлине он иной раз зарабатывал такие деньги за две недели, у Гингольда ему для этого нужно гнуть спину три месяца. Ильзе не стоит рассказывать, как дорого обойдется поездка. В сущности, надо было бы ее попросить на ближайшие месяцы несколько сократиться. Но это выше его сил. Стоит ему вспомнить, что было, когда они из дорогого отеля «Рояль» переселились в более дешевую гостиницу «Атлантик», и у него заранее отнимается язык.

Почти десять тысяч франков. И за что? За удостоверение личности, за дурацкий клочок бумажки. Томас Манн, глядя на младенца, родившегося у кого-то из его цюрихских знакомых, воскликнул: «Всего восемь дней от роду – и уже швейцарец!» Горькая острота. Беттина Ламмерс, которая не имеет обыкновения врать, рассказывала, что она ходила в префектуру семьдесят восемь раз. Ее посылали от одного окошечка к другому, а документа она так и по сей день не по-

лучила.

Нет, читать он уже не будет. Он выключил настольную лампу, и в купе остался только слабый синеватый свет ночника. Беньямин потягивается и позевывает в приятной сонной истоме. Нет, ему живется неплохо. Если вспомнить, как мучаются другие эмигранты, то ему нужно еще славить и благодарить бога. Как странно, что пришли на ум эти слова. Это оттого, что он засыпает, – в такие минуты человек теряет над собой контроль и всплывают слова из далекого детства. Да, он может славить и благодарить бога. Ему повезло. У него есть счастливая возможность заниматься тем, к чему его больше всего влечет. Великое удовольствие покрывать бумагу осмысленными словами. Сначала это просто лист бумаги, белый, пустой и безмолвный, и вдруг он обретает твой голос и говорит всякому, кто не отказывается слушать, все то, что ты чувствуешь и думаешь. Вдобавок тебе платят за это занятие столько, что можно сводить концы с концами, да еще чуть не каждый день получаешь от каких-нибудь восторженных читателей благодарственные письма. Да, тут ничего другого не скажешь, как только: слава и благодарение богу. Или еще, как говаривал дедушка: «Все к лучшему». И неожиданно в нем возникают древнееврейские слова, о которых он не вспоминал, наверное, лет тридцать: «Гам зу лейтуйво», – и он ясно видит своего деда, полного старика с ермолкой на седовласой голове, с красивым лицом, всегда плохо выбритым, так что седая щетина колется.

«Все к лучшему». Но это очень условно. Прошлое несравнимо с настоящим. Как хорошо было тогда, после четырех лет фронта и вынужденного молчания, излить в крике всю ненависть, накопившуюся в душе. Он просто ощущал, как сотни тысяч, миллионы подхватывают этот крик. А позже, когда, бывало, доказываешь немцам и всему миру на основании точных и неопровержимых данных, что старые генералы, которые и раньше промышляли обманом, продолжают это делать и по сей день, когда, бывало, бьешь противника в лоб, какая это была зарядка и разрядка. Какое удовлетворение. И когда ярость врагов, ярость власть имущих, готова была уничтожить тебя, когда они любыми средствами старались заткнуть тебе рот и это им не удавалось, вот тогда ты чувствовал, что живешь.

А теперь, думал он с презрением, теперь все мертво, все выдохлось. Для чего живешь? Для чего работаешь? Пишешь на мертвом языке. Кто его понимает, тому написанного тобой читать не доведется, а кто прочтет, тот и без того знает, что ты хочешь ему сказать.

Вагон покачивается в такт равномерному, убаюкивающему движению. Так, так, говорит Бенъямин про себя, когда его подкидывает вверх. Но уж при обратном движении он говорит себе: нет, не так. Конечно, со стороны работа его может показаться пустой тратой времени. Однако уже самая ненависть, с которой враги встречают его статьи, доказывает, что он попадает в цель, что работа его имеет смысл.

Сон надвигается. Нет ничего приятнее, чем так, с полной ясностью чувствовать, как слой за слоем выключается бодрствующее сознание, точно медленно гаснет лампа за лампой.

«Все к лучшему». Да, это совпало великолепно – он устроит паспортные дела и заодно повидается с Дитманом. Судьба улыбнулась ему, послав этого Дитмана. Он думает о Дитмане с какой-то нежностью. Он не политик, наш Дитман, но верный парень, а интересный материал он чует носом на расстоянии.

Веки его тяжелеют, во всем теле сонное оцепенение. Он гасит и голубой ночник и с удовольствием предвкушает хороший, крепкий сон до утра. Ложится на правый бок, зажав подушку между плечом и головой.

Что-то теперь делает Ильза? Она была великолепна, когда стояла на перроне с запрокинутой головой и полуоткрытым смеющимся широким ртом с красивыми зубами, в своем весеннем костюме, который она сегодня надела в первый раз. В сущности, эти сдвинутые назад тирольские шляпы – необычайно глупая мода. Но Ильзе идет даже этот нелепый фасон. Ему все нравится в ней. Удивительно, что после стольких лет совместной жизни можно быть так слепо влюбленным, как он. Он испытывает страстное желание лежать с нею рядом, ласкать ее гладкую, нежную кожу, ее маленькую грудь. Ей нужны деньги, много денег. Несмотря на стесненные обстоятельства, она в Париже почти не изменила своего образа жизни, она и не думает в чем-нибудь себя ограничить,

она требует денег с такой же уверенностью, как в свое время в Берлине, когда он был высокооплачиваемым редактором «Прейсише пост». Она не была бы Ильзой и он не любил бы ее так, если бы она поступала иначе. Она имеет право требовать деньги, когда они ей нужны, она стоит их. Это особая милость и счастье, что она требует их от него, – от других она могла бы иметь их гораздо больше.

Он старается представить себе, где она теперь, с кем, что делает, сидит ли, стоит, ходит, смеется, болтает, ест или пьет. Она любит флирт и флиртует много, предпочитает красивых мужчин; она улыбается им, улыбается все ее милое, очаровательное, бело-розовое славянское лицо. Он не знает, как далеко она заходит с этими красивыми мужчинами, он не хочет этого знать. Кошки скребут у него на сердце, когда он представляет себе, с какого сорта мужчинами она, вероятно, проводит сегодняшний вечер. Но как бальзам на эти душевные царапины действует сознание, что она, красивая, изящная, богатая Ильза – тогда она была богатой, – вышла замуж именно за него. Правда, она иногда поднимает его на смех, но, когда нужно, она горой стоит за него, он это знает.

Беньямин ногами расправляет подвернутое одеяло и опять закутывается. Ах, если бы у него было побольше денег для Ильзы. Он был бы счастлив положить на ее текущий счет солидный куш. Она просто чудеса творит на те деньги, что он дает ей. В глубине души – вслух он никогда это не выскажет – в нем дремлет подозрение, что то или иное платье, та

или иная драгоценность куплены Ильзой не на его деньги.

Но сегодня, раньше чем это подозрение начинает шевелиться, «то» снова тут как тут. «То» – соблазн, который Фридрих Беньямин старательно отодвигает в туман, не позволяя ему принять определенные очертания, «то» – возможность довольно крупного заработка. Один финансист, несомненно по поручению группы лиц, предложил ему деньги, крупную сумму, с тем чтобы укрепить «Трибуну», журнал, который он теперь выпускает нерегулярно. Ни о каких обязательствах не было речи. Но и без долгих слов Беньямин понимал, что за щедрым финансистом стоят люди, заинтересованные в росте вооружений. Люди эти хотят, чтобы опытный журналист с именем давал в серьезном органе обзоры германских вооружений во всем их объеме, подготавливая общественное мнение других стран к мысли о необходимости встречных вооружений. Он, Фридрих Беньямин, безоговорочный пацифист, убежденный противник всяких вооружений независимо от того, кто вооружается. Значит, он враг этих людей, которые заинтересованы в вооружениях. Но пока, на ближайший отрезок времени, надо думать короткий, его интересы совпадают с их интересами, как ни противоположны их конечные цели.

Должен ли он, когда подозрительные люди предлагают ему деньги, для того чтобы расширить и укрепить его журнал, не ставя ему при этом никаких условий, отклонить их предложение? Обязан ли он, как человек честных убежде-

ний, отвергнуть деньги только потому, что тот, кто их платит, не разделяет его убеждений? Честно говоря, обязан. Он знает, что, изъяви он согласие, его противники ложно это истолкуют, заявят, что он подкуплен, и тем самым сведут на нет значение и влияние его статей. Поэтому он и не даст согласия. Но ему приятна мысль, что такая возможность существует, что стоит ему сказать «да», и деньги будут, что «то» – реальность, отклоняемая им, туманная, но все же реальность. Однако он не соглашается, и это дает ему право чувствовать себя человеком стойким, держать голову высоко и с чистой совестью вознаграждать себя всякими мелкими благами жизни за тот жирный кусок, который он отвергает из высших соображений.

Он подтягивает колени к подбородку и лежит, как дитя во чреве матери. «Спокойной ночи», – желает он себе и засыпает с красящей его мудрой, покорной усмешкой над самим собой. Поезд укачивает его, он засыпает незаметно и глубоко, слегка похрапывает. Так едет он сквозь ночь к юго-восточной границе, навстречу обманчивой безопасности, навстречу своей судьбе.

Заблудшая дочь порядочных родителей

Ильза Беньямин, помахав мужу столько, сколько полагалось, вышла из здания вокзала, с удовольствием отмечая про себя многочисленные восхищенные взгляды, которыми провожали ее, красивую, стройную женщину. У подъезда она, как всегда, пожалела, что у нее нет своей машины; но и некоторая доля торжества примешивалась к этому сожалению: не ей, а шоферу такси нужно беспокоиться о том, как вести машину по скользкому асфальту.

Войдя к себе в номер – Беньямины жили в небольшой, но уютной гостинице «Атлантик», – она нашла на столе вечернюю почту и в числе прочих три настойчивых, дерзких письма от мужчин, с которыми флиртовала. Она прилегла на кушетку, закурила. Ильза собиралась провести вечер с Яношем. Но ему она, несмотря на все его настояния, еще ничего определенного не обещала и только сказала, что, если ей все-таки заблагорассудится его повидать, она ему позвонит; ей казалось, что тактически правильнее разыграть из себя недоступную. Янош, атташе венгерского посольства, необычайно красивый мальчишка, носил какое-то трудно выговариваемое аристократическое имя, отнюдь не Янош; она же, и

радуя, и обижая его этим, называла его просто Янош. Почти час прошел уже после условленного времени, и, стало быть, можно ему позвонить. Звучным голосом, растягивая слова, почти непрерывно хохоча, она говорит, что пока еще ничего не решила и только после вечерней ванны сможет окончательно определить, чего ей, собственно, хочется. Она слушала его дерзкие, пылкие комплименты, похотливо вздрагивая, томно поеживаясь. Затем, пока ванна наполнялась водой, она позвонила своей приятельнице Эдит, посмеялась над Фрицхеном, своим мужем, пожалела, что он уехал, порадовалась этому, обсудила с Эдит, переспать ли ей с Яношем и когда – может быть, даже сегодня? По всем правилам флирта следовало бы оттянуть удовольствие. Но с другой стороны, всю историю к понедельнику надо закончить; было бы непорядочно по отношению к Фрицхену, если бы она и по его возвращении путалась с фашистом. Она и Эдит долго и серьезно взвешивали с точки зрения тактики и морали все за и против, пока Ильза не сказала, что ванна ее уже вторично остыла.

Она поужинала с Яношем в маленьком ресторане в Нейи, только что вошедшем в моду отчасти благодаря своим закускам, отчасти – специальному блюду, петушиным гребешкам с петушиными почками. Закуски действительно отличались особой пикантностью, а петушиные гребешки с почками были отлично приготовлены. Но в ресторане немного было знатоков, умевших оценить своеобразие этих блюд, атта-

ше и Ильза тоже вряд ли принадлежали к их числу, да и сидеть здесь было неудобно и тесно. Зато неслыханно высокие цены позволяли посетителям чувствовать себя избранныками – они-де ужинают в ресторане, слава которого всего лишь две недели как стала распространяться среди посвященных. Затем Ильза и атташе поехали на Елисейские Поля, в кафе, где после сегодняшней театральной премьеры можно было наверняка встретить знакомых. С Ильзой Беньямин приветливо раскланивалось много народу, но были среди посетителей и менее обеспеченные люди, интеллигенты; их возмущало, что жена Фридриха Беньямина смеется, флиртует и разряжена в пух и прах, когда кругом столько эмигрантов пропадают с голоду.

Из кафе направились в варьете, а затем в кабачок на Монмартре, оттуда, когда уже рассвело, Ильза и Янош переключились в пивную для шоферов. В кабачке на Монмартре Ильза, именно потому что Янош так чудесно танцевал, решила продлить радость ожидания и тем самым усилить остроту последних жгучих мгновений. Поэтому, когда Янош отвез ее поутру домой, она на сегодня отставила его.

Ильза спала долго и хорошо. В половине первого – она раз навсегда распорядилась не будить ее раньше этого часа – ей принесли почту и посылки, полученные на ее имя, среди прочего телеграмму от мужа: «Все порядке приеду понедельник Фрицхен». Она потянулась, похвалила себя за то, что отставила Яноша, не без нежности подумала о Фрицхе-

не. Затем села в ванну, радуясь своей нежной бело-розовой коже и своей жизни.

День прошел лениво, вместе с Эдит она ходила по магазинам, много разговаривала по телефону, час играла в бридж и выиграла восемнадцать франков, прочитала письма, адресованные мужу, не все в них поняла, решила, что в них ничего такого нет, о чем следовало бы ему сообщить, радовалась и сожалела, что Фрицхена нет, радовалась и сожалела, что она запретила ему звонить и поэтому теперь не может ждать от него телефонного звонка, глубокомысленно проболтала полчаса с молодым, довольно неопытным на вид эмигрантом, философом Гальперном, с удовольствием отметила, как он от вожделения к ней краснеет и настолько робок, что способен лишь пролепетать неловкий комплимент, заставила элегантно графа Боннини повезти ее посмотреть нашу шумевшую спорную постановку шекспировской драмы, мало что поняла и отчаянно ругала Шекспира за то, что он устарел, ругала и самую постановку; покинула театр сейчас же после первого действия, к великому удовольствию графа, и поехала с ним к «Максиму» ужинать. Во время ужина позвонила Яношу и встретилась с ним в час ночи у Флоранс, после того как Боннини в полночь отвез ее домой. Янош и в эту ночь, со среды на четверг, не достиг цели.

Без Фрицхена ей оставалось прожить всего каких-нибудь четыре дня – четыре дня, бывшие в ее полном распоряжении. В этот четверг ей попала в руки статья Фрицхена, на-

печатанная в одном видном английском журнале. Она прочитала статью и нашла ее великолепной. Она всегда считала Фрицхена умнее всех, кого она знала, самой светлой головой. Он – граеceptor Germanise³, он выставляет отметки, одному – хорошие, другому – плохие, он духовный диктатор немцев; она же диктатор над ним. Это очень забавно, и она гордится, что вышла за него замуж. Все же досадно, что у Фрицхена не хватило смелости вопреки ее запрещению позвонить, и поэтому она считает себя вправе назначить Яношу новое свидание.

Положив трубку, она с кровати взглянула на письменный стол, где стояла фотография Фрицхена. Она довольна, что поставила фотографию так, чтобы видеть ее день и ночь. У Фрицхена чудесные глаза. Временами они выражают собачью преданность, временами – безграничное отчаяние, но в общем это гениальные глаза. Нет никаких сомнений: он умнейший, замечательнейший человек из всех, кого она знала. Никто не мог понять, как она, дочь богатых, почтенных родителей, «арийцев», вышла за невзрачного журналиста-еврея, весьма подозрительного при всем его блеске. Она-то хорошо знала, почему она это сделала, только в редкие минуты сама переставала понимать себя, но и тогда глубоко себя уважала за этот шаг.

Если вспомнить жизнь в родительском доме, то эти парижские годы, несмотря на всякие мелкие огорчения, по-

³ Наставник Германии (*лат.*).

кажутся сбывшейся мечтой. В свое время богатые родители очень ее баловали, она делала что хотела, флиртowała, ездila верхом, правила машиной, играла в теннис, болтала по-французски, английски, итальянски, посещала какие-то странные лекции. Но при всем том какая мещански-удушливая атмосфера устоялась в купеческом доме ее родителей, как ее преследовали вечным надзором, сколько ее окружало условностей, предрассудков. Тут из одного протеста станешь *highbrow*, снобом, и если только ты мало-мальски – личность, из одного духа противоречия будешь радоваться случаю ошеломить этих мещан. День, когда она решила выйти замуж за Беньямина, был большим днем, самым большим в ее жизни; никогда еще она не чувствовала себя такой «возвышенной натурой», свободной от предрассудков, благородной, оригинальной.

Она и сейчас еще с удовольствием смакует эпизод, который толкнул ее на этот брак. Сентиментальность и настойчивость, с какой этот маленький еврей с влекуще-уродливым лицом осаждал ее, его циничные, страстные, не знающие никакой меры комплименты произвели на нее, двадцатилетнюю девушку, впечатление, и она решила отдаться ему. И вот, когда она впервые пришла к нему на квартиру, произошел этот самый «эпизод». Это была странная квартира, смесь убожества с неуклюжей роскошью; наряду с более чем жалкой ванной комнатой спальня с роскошной кроватью под безвкусной люстрой. Она позволила ему наполовину раздеть

себя и жадно, готовая на все, ждала. Но он вдруг резко отшатнулся; его страсть, объяснил он ей, сильна и честна, а ей, видимо, заблагорассудилось переспать с ним раз-другой. Он боится, что с ее стороны все это лишь похоть и любопытство, но таких встреч у него было достаточно, они больше его не увлекают. Его слова поразили ее, да и сам этот дерзкий человек порастил ее, он еще и по сей день ей импонирует. И по сей день она считает свое замужество, эту безмерную глупость, лучшим, умнейшим поступком своей жизни.

Ильза Беньямин смотрит с кровати на фотографию мужа. Души у него хватит на них обоих, достаточно поглядеть на его глаза. С улыбкой вспоминает она, сколько серьезных, одаренных мужчин укоряли ее за ветреность, за внутреннюю пустоту и не прочь были вдохнуть в нее душу, разумеется в обмен на ее тело. Один раз она обнаружила в себе душу, раз и навсегда, когда вышла замуж за Фрицхена; она вполне довольна, ей нисколько не мешают пустота и ветреность.

Она задумчиво улыбается, опускает сладкую подковку в чашку с шоколадом, с аппетитом ест. С плутоватым самодовольством, в полном ладу с собой, она вспоминает о том сюрпризе, который ее ждал вскоре после свадьбы. Через два месяца после того, как родители решили простить ее и назначили ей ежемесячную ренту, выяснилось, что они разорены, и тут ее идеализм оказался, помимо всего прочего, выгодным дельцем: ведь Фрицхен неплохо зарабатывал.

Да, она довольна собой, своим мужем и всем светом. Вер-

но, в Берлине жилось роскошнее, чем в Париже. Здесь ей приходится труднее. Но зато в Париже у нее больше душевного удовлетворения. Жить здесь, в Париже, на положении эмигранта – это кое-что да значит, это выделяет тебя из общей массы. Фридрих Беньямин и в Берлине был заметным человеком, особенным, а здесь он стал им вдвойне, а вместе с ним и она.

Голубчики мои, уже половина второго. Надо вставать, иначе она опоздает к Сюзанне на примерку. Вечернее платье она обновит завтра, на премьере с Марлен Дитрих. Она обещала Сюзанне дать сегодня окончательный ответ насчет костюма. Ей он не нужен, но он красив. Заказать его или нет? Ее раздражает необходимость раздумывать по такому поводу. Нет-нет, а невольно чувствуешь, во что обходится этот «особый» отпечаток, который дает изгнание. Комфортабельная берлинская квартира, дом на широкую ногу, красивый автомобиль, верховая лошадь – все это уплыло. Но как раз жертвы, которые она принесла во имя своего лучшего «я», как раз тот факт, что она и в нужде не оставляет своего милого уродливого еврея, показывают всему свету и ей самой, что она личность, а это, как известно, величайшее счастье для земных созданий. И потом – она улыбается, – ничто не мешает ей с чистой совестью возместить себе жертвы, которые она принесла Фрицхену, тем, что она позволит себе еще больше вольностей.

Заказать костюм или нет? Она не интересуется денежны-

ми делами Фрицхена, но знает, что он мог бы, если бы захотел, получить большие деньги для своего журнала «Трибуна». Этот журнал – начинание идейное, а если Фрицхен согласится взять деньги, оно будет немножко менее идейным. Он не берет денег; она и презирает его за это, и еще больше уважает. Костюм она закажет. Сюзанна согласна ждать сколько угодно, а счастливый случай всегда подвернется, и в нужную минуту деньги свалятся точно с неба.

Фрицхен надрывается, стараясь доставить ей ту роскошь, которой он ее как-никак окружает, это видит и слепой. Впрочем, вполне естественно, что он так поступает. И все-таки это очень мило с его стороны. А то, что он никогда об этом не заикается, она ценит вдвойне. Как же судить о любви мужчины, если не по жертвам, которые он приносит женщине?

Она пудрится, красит губы. Отводя глаза от зеркала, скашивает их на его портрет, машинально улыбается кокетливой, плутовской улыбкой, точно он на самом деле в комнате. Ее Фрицхен приносит ради нее жертвы. До нее дошли разговоры, будто тратами на жену, которые люди считают доказательством его смехотворной поработченности, он вредит своему положению и авторитету в эмигрантской колонии. Она не верит этому. Но если это так, она даже рада. Что там ни говори, она – дающая, а он – одариваемый. Она знает, что он без нее жить не может, и это хорошо. Ибо в лучшем случае ее красота продержится еще три или четыре года, дразнящий золотой блеск ее волос померкнет, и что тогда? В эту

минуту все лицо ее, обращенное к портрету, светится улыбкой; она с чистой совестью может сказать, что, сколько бы презрения ни примешивалось к ее уважению, она из всех мужчин любит его одного.

Ильза поехала к Сюзанне, примерила платье, заказала костюм. Прошел четверг, наступила пятница, день премьеры с Марлен Дитрих, на которую Фрицхен должен был достать ей билет. В полученной ею почте билета не было. Она позвонила в «Новости», там никто ничего не знал о билете, который господин Беньямин, по ее словам, заказал для нее, он вообще, как это ни странно, ни разу за все эти дни не дал о себе знать. Она ужасно разозлилась: какое невнимание со стороны Фрицхена, он так и не позаботился о билете. Просто стыдно перед сотрудниками «Парижских новостей». Она знает, что они не любят ее, они находят, что ее замашки не к лицу эмигрантке, называют ее «саксонская леди». Уже по одному этому Фрицхен не смел оставлять ее в дурах. Теперь у нее есть все основания, как она и предупредила Фрицхена, достать себе билет другим путем и другими средствами.

Она позвонила Яношу. Он заверяет ее, что она может на него положиться, билеты будут, хотя бы ему пришлось для этого убить с десяток владельцев кинотеатров. В условленный час он действительно заезжает за ней и предоставляет ей достойный случай продемонстрировать свое вечернее платье.

Ничего удивительного, что при такой невнимательности

Фрицхена и такой готовности на любые жертвы, какую обнаружил Янош, она без колебаний в последний момент – ибо послезавтра Фрицхен будет уже здесь – позволила наконец Яношу достигнуть цели.

Янош показал себя таким, каким она его и представляла себе: красивым, галантным, пылким, дерзким, довольно-таки ограниченным – большего она и не ждала.

Вернувшись домой, она долго и тщательно мылась в ванне. Всегда, когда она купается после близости с мужчиной, у нее какое-то смутное ощущение, что вместе с телом она омывает и душу. Лежа в приятно-теплой воде, она курит и напряженно думает, наморщив широкий, низкий, своевольный лоб. Она подводит итог. В общем, это было неплохо и доставило ей удовольствие, но, когда это кончится, она жалеть не будет. В конце концов, он фашист. Конечно, не внутреннее убеждение, а случай сделал его фашистом. Бедняга особыми способностями не отличается: чем же ему быть, если не атташе при своем посольстве? Будь у него либеральное правительство, и он был бы либералом.

За окнами светает. Уже, значит, суббота, а в понедельник Фрицхен будет здесь. Она рада, что скоро увидит его. Когда его нет, ей недостает его; это единственный человек, который может удовлетворить ее духовные запросы. Только завтрашнюю ночь она еще поспит с Яношем, а затем, конечно, даст ему отставку. Впрочем, еще два-три раза она с ним куда-нибудь поедет. Очень эффектно показываться с этим

стройным, элегантным мужчиной в театре, в кафе; а как забавно будет видеть его недоумение и замешательство, когда она неизменно будет отпрашивать его несолоно хлебавши домой, пока он наконец не поймет, что между ними все конечно – и так скоро.

Прошла суббота, прошло воскресенье. В понедельник вместо Фрицхена прибыла телеграмма: «Еду Женеву среду буду назад Фрицхен».

Ильза не особенно сердилась на Фрицхена, что он задержался, хотя ее всегда злило, если кто-нибудь расстраивал ее планы. Гораздо больше раздражало ее, что Фрицхен телеграфировал, вместо того чтобы позвонить по телефону. Так уж буквально ему не следовало понимать ее запрета; очень хотелось бы услышать его родной голос. Трусость с его стороны, что он не посмел позвонить.

– Трус, – говорит она, обращаясь к портрету.

Уж если его задерживает какое-нибудь дело, значит это серьезное дело; вероятнее всего, он напал на след каких-нибудь важных материалов. Она заранее радуется статьям, которые он напишет; они, безусловно, обратят на себя внимание. Яношу, во всяком случае, повезло; день, когда ему придется услышать суровый приговор, отодвигается.

Понедельник и вторник у нее были заняты с утра и до ночи. Она ездила на примерку, переговаривалась по телефону со своей приятельницей Эдит, играла в бридж, посещала дорогие рестораны, была в театре, в кино, флиртвала, кури-

ла, спала с Яношем, мылась в ванне, беседовала с портретом Фрицхена. Наступила среда, день, когда Фрицхен обещал приехать; ее удивляло, что он не сообщил точно час своего приезда – совершенно несвойственная ему бестактность. Утром пришло письмо от Дитмана, сотрудника Фрицхена, в котором тот писал: «Почему от вас до сих пор нет никаких вестей? Без ваших документов я не могу ничего предпринять». Она мельком подумала: как странно, что всегда аккуратный Фрицхен оставил Дитмана без вестей. Но все это выяснится сегодня вечером, когда он приедет.

Она подумала, не пойти ли куда-нибудь вечером в пику Фрицхену за то, что он был так непредупредителен и не известил ее о времени приезда. Но затем все-таки решила ждать его дома. Ждала его, сидя за книгой, одна. В половине первого ночи легла в постель, возмущенная тем, что он не приехал, не известил ее, испортил ей вечер.

На следующий день ей позвонили из «Новостей» и довольно-таки раздраженным тоном спросили, где же пропадает Беньямин. Они получили телеграмму точно такого же содержания, как и она. Уж и среда прошла, отпуск господина Беньямина давно кончился, господин Гингольд недоволен и удивлен, господа Гейльбрун и Траутвейн также недоумевают. Да и она в недоумении. Только одним можно все объяснить: дела задержали Фрицхена в Женеве дольше, чем он предполагал; характер же этих дел не допускает, по-видимому, огласки, и поэтому он с присущей ему осторожно-

стью воздержался от телеграммы. Это было правдоподобно; но все-таки он мог бы найти средство как-нибудь окольным путем известить ее. Она решила наказать его за такое невнимание и в дальнейшем совершенно с ним не считаться. Еще одним вечером она ради него не пожертвует. В четверг она провела вечер с Яношем.

Наступила пятница, а от Фрицхена все еще никаких вестей. На этот раз уже она позвонила в редакцию. Сегодня с ней разговаривали не так раздраженно, как вчера, скорее как-то неуверенно, робко, пожалуй, даже сочувственно. Ильза отгоняет невольную тревогу, прикидывается равнодушной, высказывает бессмысленное предположение, не попал ли Фрицхен в Женеве в сети какой-нибудь красавицы; насколько ей известно, в кругах Лиги Наций поживиться особенно нечем.

Во время этого разговора ее вдруг охватило незнакомое ей тягостное чувство вины, оттого что прошлую ночь она не ждала его. Она повесила трубку. «Так рано я уж давно не начинала свой день», – пыталась она подшутить над собой, но из этого ничего не вышло. Среди утренних писем, которые она против обыкновения велела рано принести к себе в номер, ни от Фрицхена, ни от кого из его помощников ничего не было. Она вторично просмотрела письма. Ничего. Она позвонила консьержу, не осталось ли у него еще письма и не пришло ли новое. Нет, ничего. «Пустяки, – утешала она себя. – Глупости, вздор. Сам он не может написать, а его по-

мощники поленились это сделать. А может быть, какую-нибудь телеграмму и не доставили. Почта работает безобразно». И она встала, решив приготовить себе ванну. В ожидании, пока ванна наполнится, она, опять-таки против обыкновения, снова села на кровать, задумалась. Так сидела она некоторое время. Из ванной донесся плеск, вода лилась через край. Никогда этого с ней не случилось.

Она прошла в ванную, закрыла краны. Но не села в ванну, а вернулась в комнату и снова опустилась на кровать, какая-то вялая, с полуоткрытым ртом. Так она долго сидела, ее стало знобить. Неожиданно для себя она опять позвонила в «Новости».

– Послушайте, ведь это все-таки немножко странно, что Фрицхена до сих пор нет. Мне хотелось бы подробнее поговорить с вами. Если вы не возражаете, я заеду в редакцию.

– Да, пожалуйста, это будет лучше всего, – ответили ей, и по быстроте ответа она поняла, что там ждали ее предложения заехать.

Она не стала принимать ванны и оделась менее тщательно, чем обычно. Не только потому, что торопилась, – это было своего рода самобичевание, она наказывала себя.

В редакции ее встретили со смущенным любопытством, как человека, у которого только что умер близкий. Все говорили чуть не шепотом, машинки перестали стучать, люди ходили на цыпочках. Ее повели в кабинет Гейльбруна. Едва тот поздоровался с ней, как в комнату вошел Траутвейн. Траут-

вейна она терпеть не могла, он казался ей таким же грубым и неотесанным, как она ему – жеманной и претенциозной. Траутвейн с присущей ему прямоотой заговорил без всяких околичностей.

– Надо немедленно что-то предпринять, – сказал он. – Если такой пунктуальный человек, как Беньямин, пропускает все сроки и ничего о себе не сообщает, то это более чем подозрительно. Шутка ли сказать, Базель. Мне незачем вам объяснять, почему ему угрожает опасность и какая. Мы все были идиотами, что не удержали его от этой поездки. Глупо, когда такие вещи говорятся задним числом, но факт остается фактом: Дитман мне никогда не нравился.

Даже любезный, осторожный Гейльбрун и тот сказал:

– По правде говоря, трудно себе представить, чтобы он не известил ни вас, ни нас, если с ним ничего не случилось.

Ильза переводит взгляд с одного на другого. Она сидит полуоткрыв рот, испуганная, оторопевшая. Конечно, оба они правы, но она не хочет с ними согласиться. Она ищет доводов для возражения, ухватывается за брошенное в разговоре имя.

– Дитман, – с трудом выговорила она протяжнее, чем обычно. – Они ведь были большими приятелями, он и Дитман. Он очень любил Дитмана. – Обоим ее собеседникам и ей самой резнуло слух это «были» и «любил». Значит, она уже допускает, что с ним что-то стряслось и что к этому приложил руку Дитман? Нет, нет. – От Дитмана было письмо,

– продолжала она оживленнее, увереннее, – он спрашивает, почему Фрицхен не дает о себе знать.

«Фрицхен» прозвучало теперь очень неуместно, но как же иначе ей называть его?

– Откуда он написал? – спросил Траутвейн. А Гейльбрун подхватил:

– И когда? Письмо при вас?

– Письмо из Лондона, – ответила Ильза. – Оно получено в среду утром. С собой его у меня нет, оно дома.

– Как бы там ни было, надо известить полицию, – звонким голосом решительно сказал Траутвейн. Ильза взглянула на него зло, как на врага, который отнимает у нее последнюю надежду. Гейльбрун в свою очередь вставил:

– Надо непременно разыскать в Лондоне этого Дитмана и связаться с ним по телефону, по телеграфу, как угодно.

– Но прежде всего я позвоню в полицию, – повторил Траутвейн.

Ильза сидела перед ним, ее карие глаза растерянно, беспомощно блуждали от одного к другому. Резче выступили широкие скулы, она уже не была красивой, и даже сам Фридрих Бенъямин не сказал бы теперь, что задорная изящная тирольская шляпка ей к лицу. Машинально мяла она в руках крохотный носовой платочек.

– Незачем так уж сразу предполагать самое страшное, – утешал Гейльбрун, но Траутвейн сказал:

– Правильнее предположить именно самое страшное. На-

до действовать и заставить действовать официальные инстанции.

«Щепотка насилия лучше, чем мешок права», – писала «Дейче юстиц», официальный орган германского судебного ведомства, и «третья империя» действовала соответственно этому принципу. Чиновники гестапо увезли из Швейцарии, из окрестностей Рамзена, коммуниста Вебера, насильно утащили в Германию из Саарской области эмигранта Вальтера Кана. На тирольско-баварской границе был убит шотландский инженер Джордж Белл, которому были известны многие тайны нынешних германских правителей, полицейские агенты схватили и увезли из Голландии в Германию немецкого матроса Шольца и других немецких «бунтовщиков». В Чехословакии агенты германской полиции похитили ряд людей и много раз пытались осуществить такие похищения. Нацисты убили там германского философа Лессинга, а совсем недавно – инженера Рудольфа Формиса, эмигранта. Обо всех этих случаях Ильза слышала; она забыла подробности, помнила лишь, что насилия эти совершались ужасающими, гнуснейшими средствами, и мысль о том, что могли сделать с Фрицем в эти дни, переворачивала ей всю душу. Она не в состоянии была усидеть на стуле. Перед обоими мужчинами стояла не прежняя элегантная дама, а затравленное существо, с дрожащими губами и тихим голосом.

– Помогите мне, помогите же мне, – с трудом выговорила Ильза.

Протелефонировали в полицию, в министерство иностранных дел, в швейцарское посольство. Недавнее злодеяние, о котором только что невольно вспомнила Ильза, зверское убийство в Чехословакии инженера-эмигранта, чем-то насалившего германским властям, – убийство, безнаказанно совершенное германской полицией полтора месяца назад, взволновало общественное мнение всего мира; поэтому сообщение «Новостей» о том, что и редактор Беньямин исчез при весьма подозрительных обстоятельствах, нашло живой отклик.

Уже через час после заявления французский полицейский комиссар учинил Ильзе подробнейший допрос. Она взяла себя в руки, спокойно и четко давала показания. Но как только допрос кончился, ее охватил безумный страх. Надо что-то сделать, надо что-то предпринять. Она позвонила своей приятельнице Эдит и попросила ее приехать. Через пятнадцать минут Эдит была у Ильзы, и в ее испуге отразился весь ужас происшедшего. Тогда, сама не зная зачем, Ильза позвонила еще десятку знакомых, наспех, сбивчиво, лихорадочно рассказала о том, что случилось, прося совета и помощи у людей, которые при всем желании ничего не могли тут поделать. И Яноша она хотела просить помочь ей, но не дозволилась. Графа Боннини ей удалось застать; охваченная паникой, она даже не заметила, как он, поняв, о чем речь, смешался, стал отвечать ей все холоднее и холоднее.

Когда Эдит ушла, она осталась одна в маленьком номере

гостиницы «Атлантик». Было далеко за полдень, она еще ничего не ела, но голода не чувствовала.

Ильза Бенъямин по-своему любила мужа. Она читала и слышала жуткие описания того, что в Германии называлось «допросом», ей случалось лично разговаривать с «допрошенными», которым посчастливилось бежать; трепетно, с любопытством, с содроганием она осматривала, щупала их рубцы. Когда она представляла себе, что, может быть, в эту самую минуту Фриц – она уже не осмеливалась даже в мыслях называть его Фрицхен – подвергается такому «допросу», она зябко поднимала плечи, что-то глухо и грозно подступало к горлу, во рту пересыхало. Она сидела согнувшись, наморщив широкий, низкий лоб, хотя не раз давала себе слово отучиться от этой скверной привычки.

Телефон звонил теперь довольно часто. Кругом говорили о случившемся, главным образом благодаря Эдит. Звонили друзья, знакомые, соболезнующие, жаждущие сенсации, звонили из редакций газет, просили разрешения прислать репортеров. Ильзу вдруг обуяла жажда деятельности, в глубине души шевельнулось смутное чувство удовлетворения оттого, что она оказалась в центре такого сенсационного происшествия. Но у нее хватило благоразумия спросить в редакции «Новостей» совета, что ей делать, и там ей рекомендовали пока ничего не предпринимать.

Она осталась у себя, в номере гостиницы «Атлантик». Если она ходила по комнате, ей хотелось сидеть, лежать, ду-

мать; если она сидела или лежала, ее тянуло встать, двигаться. Все напоминало ей о Фрице. Она подолгу смотрела на его портрет, точно ждала, что фотография, если как следует всмотреться, заговорит и она, Ильза, узнает, что с Фрицем. Быть может, его уж нет в живых. Тогда она виновата в этом. Она обвиняла себя: как могла она не понять тотчас же, что телеграмма не от него, что она подделана. Если его уже нельзя спасти, то это ее вина. И то, что она запретила ему звонить, тоже ее вина.

Если он и в самом деле умер, что будет с ней? Этот зловещий вопрос, вероятно, с первой же минуты возник в ней, но она не давала ему стать мыслью, а тем более словом. Теперь же, когда она вопрошала портрет, который молчал, и ее угнетали сомнения, жив ли Фриц, она вдруг поняла, перед каким множеством проблем сама оказалась.

Если он умер, значит она осталась без средств к существованию и положение ее – в высшей степени неопределенное. В эмигрантской среде ее не любят; правда, хотя бы только в целях пропаганды, ее объявят «жертвой» и бросят ей какую-нибудь подачку, но, по существу, она там чужая, ее не понимают. Но разве она зависит от эмигрантов? Случись «это», она и без эмигрантов была бы по-прежнему – правда, уже ненадолго – красивой, интересной женщиной и чем-то вроде мученицы. Перспективы у нее откроются, стоит ей только захотеть. «Допросы» германской полиции. Быть может, и для него, и для нее было бы лучше, если бы он умер.

Как бы там ни было, она еще не купалась сегодня. Она пустила воду, машинально разделась, села в ванну. Опять встали перед ней страшные сцены «допроса». Она почувствовала себя несчастной, замученной и к тому же вконец испорченной, оттого что слишком много думает о себе. Чем она могла ему помочь? Она ничем не могла ему помочь.

Ильза вытерлась, оделась, села перед зеркалом. Ее удивило, что перед ней та же Ильза, что ее глаза не потеряли блеска, что золото ее волос не потускнело, что она не изменилась. Но хотя ничто в ней не изменилось, она все же чувствовала себя старой, усталой, опустошенной.

В дверь постучали, принесли письма. Она слегка вздрогнула от испуга. Она где-то читала, что германские власти имеют обыкновение посылать родственникам по почте останки убитых, урну с пеплом. Как ни глупо это было, она боялась, что ей вручат сейчас такую посылку.

Зазвонил телефон. Говорил Янош: ему передавали, что она звонила ему, вероятно, она хочет провести с ним вечер. Но как раз потому, что ей самой этого смутно хотелось, она вдруг страшно, до удушья, рассердилась на него, она не могла говорить.

– Так мы, значит, проведем сегодня вечер вместе? – донесся его красивый, глупый голос.

– Нет, – возразила она резко, и, так как он оторопело спросил почему, что случилось, называл ее ласкательными именами и опять повторил свою просьбу, она сказала еще резче:

– Нет, ни сегодня, ни завтра, никогда, – и, не слушая его удивленного лепета, повесила трубку.

И ужинать она не могла, на нее нашло тупое оцепенение. Она позвонила в полицию, позвонила Гейльбрану. Поиски ведутся во всех направлениях, работают опытейшие люди, ответили ей; как только что-нибудь выяснится, ей позвонят.

Она легла спать, лежала, несчастная, в тупой безнадежности. Тело болело от усталости, но сна не было. Она погасила свет, снова включила его. Портрет Фрицхена – он опять был Фрицхеном – смотрел на нее со стола. Фрицхен уставился на нее круглыми глазами, в них был фанатизм, было отчаяние; так он смотрел на нее, когда она высмеивала его в присутствии третьих лиц. Она вспомнила, что мысленно ссорилась с ним потому, что он трусливо не позвонил ей, подчинившись ее запрету. Корила себя, что не почувствовала, какие силы помешали ему звонить. Обвиняла себя в тупости, в бесчувствии. Была минута, когда она считала себя мученицей. Вздор. Не из такого теста делаются мученицы.

Она думала о великом множестве забитых насмерть, истерзанных пытками, задушенных. Как звали последнего, которого замучили нацисты? Замучили? Сплавили, убрали, ликвидировали. Так они это называют. Как же все-таки фамилия последнего? Формис его фамилия. Да, Формис, и случилось это в Чехословакии. Завтра, значит, в газетах будет напечатано: известный журналист Фридрих Беньямин пропал без вести, подозревают, что его похитили агенты геста-

по. А что потом будет напечатано в газетах? Не думать, всего не передумаешь.

Надо наконец заставить себя уснуть. Нельзя так. Мысли назойливо кружат вокруг одного и того же. Помочь ведь она ничем не может, остается только сидеть и ждать. Она принимает снотворное. Проходит бесконечно много времени, прежде чем оно оказывает действие и она засыпает беспокойным сном.

Под утро ей снится: она на лыжах. Как же так, значит, она все-таки приняла приглашение Яноша? Склон, по которому ей предстоит спуститься, очень крут, на нем лежит рыхлый, совсем уже черный снег, кое-где виднеются даже трещины. Тренер – против, да и родители ее против того, чтобы она спускалась, это безумие. Но гостиница и без того ей не по средствам, и если она не спустится по этому склону, тогда ради чего же она приняла приглашение Яноша и что подумают о ней все? Фрицхен стоит рядом, у него грустные глаза, он смазывает ее лыжи. Это, в сущности, странно, как он может смазывать ей лыжи, раз она уже прикрепила их? И отец ее тоже говорит: «И не стыдно тебе позволять этому уроду еврею вощить твои лыжи?» – Вощить, сказал он, это смешно, и говорит он с саксонским акцентом, она даже сконфузилась. Ей бесконечно страшно спуститься вниз, но ничего не поделаешь. Так всегда бывает, когда расхвастаешься, она зарвалась, и все на нее смотрят. А если она задержится, то не успеет к поезду и опоздает на похороны. Она слегка подтал-

кивает Яноша, пусть спускается первый, на нем только коротенькие трусики, это возмутительный снобизм, ведь солнца нет, но он красив, и у Фрицхена глаза все круглее. Но когда Янош, которого она подтолкнула, съезжает вниз, она глуповато смеется, сама не трогаясь с места, и делает вид, что только хотела пошутить. Здорово она схитрила. Но Янош не так глуп, как кажется. Летит он как пуля, но внезапно останавливается, великолепно это у него вышло, и тренер тоже говорит: «Великолепно, глядите, каков наш Янош», – а Янош уже взбирается наверх, он смеется, но в то же время угрожает. Остаться наверху у нее нет больше предложения, надо съехать с горы. Вон там и в самом деле трещина, она это знала, она кричит, никто не может, конечно, заглянуть в трещину, но она все видит, в глубине поблескивает лед, она кричит, страшно кричит, не переставая; это вовсе не лед, там лежит человек, у него открытые круглые глаза; она проваливается в трещину. Янош ее не поддержал, она так и думала, и отец тоже не приходит ей на помощь, он только смешно всплескивает руками и кричит, что он так и знал, ей просто стыдно за него. А лед никак не ухватишь. Она хватается за кромку, но лед – она так и знала – рассекает толстую перчатку, режет ей пальцы, обжигает их. Она падает.

Телефонный звонок давно трещит. Вся в поту, ничего не понимая, она озирается, хватается трубку. Это голос Гейльбуна. Да, к несчастью, все подтвердилось: Бенъямин увезен в Германию. Швейцарская полиция отлично поработала.

Увез его действительно Дитман, это доказано неопровержимо. Его арестовали на итальянской границе по обвинению в похищении человека.

5

Зубная боль

Анна Траутвейн взглянула на часы. Двадцать минут третьего. Она охотно посидела бы еще немного с Элли Френкель, постаралась бы утешить ее. Да нельзя. Надо идти. И так уж она почти на час опоздала на вечернюю работу к доктору Вольгемуту.

Она нерешительно смотрит на Элли. Та сидит против нее, угасшая, вялая, опустив глаза на грязную скатерть. По-видимому изголодавшись, она жадно набросилась на скверные кушанья, которые подавались в этом дешевом ресторане; а теперь сидит, отупев от сытости. Несмотря на энергичные усилия и хорошо разыгранный оптимизм, Анне не удалось пробить броню тупого оцепенения, которой прикрылась Элли. Получив от нее письмо, полное отчаяния, Анна была подготовлена к тому, что найдет ее несчастной и подавленной, но она не представляла себе, что Элли так опустилась, так одинока и изнурена. Кто мог предвидеть, что богатая, холеная, избалованная Элли Френкель, которая ей, Анне, когда они вместе учились, казалась воплощением роскоши, так быстро скатится под гору; это трудно было предвидеть даже тогда, когда муж Элли, социал-демократ, погиб в концентрационном лагере и она без средств очутилась в Париже.

Но, как ни жаль ее Анне, оставаться с ней дольше нельзя.

Она встает.

– Мне пора к доктору Вольгемуту, – говорит она решительно.

Элли, беспомощно глядя на нее, спрашивает:

– Ты уже уходишь?

И Анна чувствует, что так бросить ее не может. Хотя она раз навсегда решила про себя не давать легкомысленных обещаний, все же она уговаривает Элли:

– Не унывай, Элли. Мы тебя как-нибудь устроим. Я поговорю с Вольгемутом. Он, кстати, ищет помощницу.

Не успев договорить, она уже раскаивается. Правда, было бы вполне естественно порекомендовать Элли Френкель доктору Вольгемуту, который недавно уволил работницу-француженку; с такой работой, наполовину приходящей прислуги, наполовину секретаря, справится всякая. Всякая, но только не Элли. Слишком уж она беспомощна. Это лишь приведет к неприятностям для всех троих. Однако она уже пообещала. Анна с трудом подавляет вздох: мало ей своих хлопот. Но теперь по крайней мере ей легче оставить Элли одну и наконец уйти.

Анна мчится на станцию метро, протискивается в вагон, ее мнут, толкают, приходится стоять в неприятной тесноте. Она едва это замечает. Она не может забыть, с какой жадностью Элли набросилась на жалкую еду, не может забыть апатии в ее голосе, когда она рассказывала о своих злополучных попытках найти заработок. Какая она сидела померк-

шая, убитая. Анна же, спокойная, подтянутая, ободряла ее словом и делом, уговаривала, кормила, предлагала деньги и казалась себе воплощением благополучия и олицетворенной энергией. Да так оно и есть. Разве по своему материальному благополучию она не стоит выше Элли настолько же, насколько директор Французского банка стоит выше ее, Анны? У Элли ровным счетом ничего нет; у Анны же, во всяком случае на ближайшие месяцы, есть средства к существованию, есть крыша над головой, муж, работа, деньги. А в первую очередь – мужество и уверенность. И все же она сознает, что не только жалость взволновала ее при виде Элли, здесь было и нечто похожее на отдаленную тревогу: никто из нас не уверен в завтрашнем дне; через полгода, через год каждый из нас может оказаться в таком же положении.

Анна проталкивается вперед, старается стать поудобнее, пускает в ход локти. Вздор, Элли исключение, в ней меньше жизнеспособности, чем у большинства, она не училась ничему полезному, она не способна к языкам. Гиршберги очень хотели ей помочь и все-таки вынуждены были ее рассчитать. Она не годится в прислуги. И не только по неспособности, но и потому, что внутренне противится такого рода работе, при всей внешней готовности.

Элли слишком требовательна, вот в чем суть. Но раз так, не следовало ей ничего обещать. Ей все равно не помочь. Даже если Вольгемут согласится, он, как и Гиршберги, уволит ее через две недели, и она снова окажется в том же по-

ложении. Еще только хуже будет, потому что на новые разочарования Элли не хватит. «Слабый – умирает, сильный – сражается». Зепп прав, постоянно цитируя эту поговорку.

Вот наконец и ее остановка. Без десяти три. Она бежит под мелким мартовским дождем по узкому тротуару вдоль широкой авеню Великой Армии к дому, где живет доктор Вольгемут. Она торопится и шагает прямо по мелким лужам. Опоздала почти на целый час. Она, правда, предупредила доктора Вольгемута, да и он не из тех, кто устраивает скандалы; но он способен доконать человека своими ироническими замечаниями, а тут она еще хочет поговорить с ним об Элли; поэтому сегодня опоздать особенно некстати.

Наконец она на месте. Она быстро надевает белый халат и заглядывает в приемную. Там полно народу, и всех к половине шестого необходимо спровадить; на этот час назначен барон фон Герке, ему нужно спилить верхние передние зубы и снять мерку для штифтовых зубов и протезов. День предстоит горячий, неблагоприятный для ее планов.

Анна вошла в кабинет.

– Лучше поздно, чем никогда, – не без приветливости прогудел доктор Вольгемут; в кресле у него сидит француженка. Вольгемут продолжает усердно работать, а кончив, велит впустить следующего пациента; он сверлит, стучит, закладывает дупла в зубах цементом, уговаривает своих больных весело, сердито, любезно. От него исходит спокойствие и уверенность, и пациенты находят долговязого врача оча-

ровательным.

Анна тем временем приступает к исполнению своих разнообразных обязанностей. Помогает кое в чем врачу, отпирает входную дверь, следит за порядком в приемной, отвечает на телефонные звонки, успокаивает нетерпеливых пациентов, записывает их на следующий прием. Доктор Вольгемут не любит, чтобы его отрывали от работы, поэтому, когда она спрашивает у него о чем-нибудь, он на нее напускается:

– Да делайте, пожалуйста, как хотите. – Но затем он долго ворчит и отменяет то, о чем она договорилась с пациентом.

Счастье, что у нее есть эта работа у Вольгемута. Но он переутомлен, капризен, нетерпелив. Нужна вся ее выдержка, чтобы ладить с ним, и все же она нет-нет да ввернет, отвечая ему, крепкое, острое словцо. «Многие пациенты мне завидуют, что я работаю с ним, – думает она. – С ними он очарователен. А придирки, капризы – все это остается на мою долю». Сегодня, именно потому что предстоит просить его об одолжении, она смотрит на него недобрыми глазами и мысленно осуждает. Его шумная, бодрая самоуверенность раздражает Анну, ей кажется, что все это от тщеславия.

Анна несправедлива. Доктор Вольгемут страстно любит свою профессию. Его специальность – пластические операции, у него зоркие глаза и умелые руки; изгнанный, как еврей, из Берлина, он быстро приобрел известность в Париже. Кинозвезды, дамы из общества, люди, которым приходилось выступать публично, доверяли ему свои челюсти, с тем

чтобы он исправлял ошибки природы. Костлявое умное лицо, энергичные глаза под крепким лбом, высокий рост, фигура кавалериста делали доктора Вольгемута всеобщим любимцем, в особенности среди женщин. Он наивно радовался своим профессиональным и светским успехам, не скрывал этой радости, и Анна не совсем была не права, находя его тщеславным. Но, радуясь собственному успеху, он всегда готов был оказать услугу менее удачливым и помогал охотно, много и от души.

– Значит, в пятницу, в половине четвертого, я записала, – вежливо сказала Анна и положила трубку. «Уж и на пятницу все до минуты расписано, – с досадой думала она. – Завтра в одиннадцать утра он демонстрирует своих больных в университете, с Югене у него работы по крайней мере на час, с Майером столько же. Послезавтра Лилиан Корона, черт бы ее побрал, получит свои фарфоровые чехлы. Опять же история часа на три. Кто увидит ее потом на экране, тому и в голову не придет, сколько труда и хлопот стоили нам ее зубы. Надо сегодня же поговорить насчет Элли; ближайшие дни у него еще более загружены. Лучше всего это сделать за кофе. Следовало бы дать ему отдохнуть в эти минуты, но уж если вообще говорить, то другого времени не найдешь».

Вот наконец половина шестого. В приемной, правда, сидят еще пациенты, но Вольгемут, к счастью, их выпроваживает, а господину Вальтеру фон Герке, который уже здесь, придется подождать. Доктор Вольгемут пьет кофе, у него

небольшой перерыв.

Анна подсаживается к нему и старается улучшить удобную минутку для своей просьбы. Он держит в крепкой, пористой, огрубевшей от частого мытья руке кофейную чашку. В эти минуты передышки с ним легче всего сговориться, но нельзя обрушиться на него сразу. Пусть сначала поболтает, он это любит.

– Рабочие, присланные ЭБО для починки раковины, опять подвели нас, – сразу же начинает он. – В сущности, надо было бы покончить с этим сбродом из ЭБО. – «Эмигрантское бюро обслуживания» – так называлась организация, которая по телефонному вызову посылала рабочую силу, нуждающихся эмигрантов, для выполнения любых работ. – При всем желании с этими людьми каши не сварить, – продолжает Вольгемут. – Вы знаете историю с дверьми? – спрашивает он и, не дождавшись ответа, начинает рассказывать.

Как-то он позвонил в ЭБО, попросил прислать мастера, чтобы исправить плохо запирающуюся дверь. Два дня спустя явилась пара, пожилые, солидные эмигранты, конечно не очень-то похожие на столяров. Они осмотрели дверь и прежде всего потребовали денег на покупку материала.

– А сколько будет стоить весь ремонт? – спрашивает Вольгемут.

– Разве можно сказать заранее? – ответили ему укоризненно. – Мы проработаем столько времени, сколько потребуется, и вы нам оплатите из расчета пятнадцать франков за

час каждому.

– Ладно, – ответил Вольгемут.

Столяры вынули дверь из петель, отнесли ее на кухню и принялись за работу.

Вскоре Вольгемут услышал отчаянный шум. Он выбежал из комнаты. Стекло в кухонной двери разлетелось вдребезги, и навстречу ему пулей выскочил один из эмигрантов.

– Бога ради, господи, что это у вас здесь происходит? – осведомился пораженный Вольгемут. И пока один из них обмывал свои раны под краном, другой сообщил Вольгемуту, вне себя от негодования:

– Вы знаете, кто этот мерзавец? Он троцкист. Теперь он разоблачен. И как посмели предложить мне работать с таким типом?

– Но ведь это не я вам предложил, – сказал Вольгемут. – Никого из вас я не знаю, вас обоих прислало ЭБО. Вы пришли вместе, беритесь наконец за работу. – Но столяр никак не мог успокоиться.

– Два года, – горячился он, – я работаю вместе с ним. Но теперь он разоблачен. Он сам разоблачил себя. Никто не может от меня потребовать, чтобы я продолжал с ним работать. Такие люди, как он, и виноваты в нашем несчастье.

Но тут второй, стоявший у водопроводной раковины, снова рассвирепел и, забыв про свои раны, кинулся на противника. Доктор Вольгемут бросился их разнимать, при этом и ему попало.

– Теперь хватит, – сказал он, – убирайтесь-ка оба.

– Хорошо, – ответил столяр, – раз так, я уйду. Но сначала извольте уплатить мне за потерянное время.

– А разбитая дверь? – поинтересовался Вольгемут.

– Кто выскочил через эту дверь, – возмутился его собеседник, – я или он?

Все это доктор Вольгемут рассказал, попивая свой кофе; он рассказывал очень живо, ему, видимо, нравилась эта история. Анне она понравилась меньше. Правда, она смеялась. Но за этим смехом скрывались стыд и возмущение. Вольгемут, вероятно, кое-что приукрасил, но суть была им подмечена правильно. Таковы эмигранты, многие из них обнаглели, одичали, потеряли всякое чувство меры, они требовательны – именно потому, что им так плохо, – они смешны. Да, они докатились до того, что стали смешными, и это самое худшее. Вполне ли она, Анна, уберегла себя от этого? Если вникнуть как следует, то и в ней можно найти много смешного – ее брюзжание, ее претензии.

Какой-нибудь недоброжелатель мог бы еще так легкомысленно отнестись к эмигрантам, но Вольгемут не имел на то права. Ему следовало бы проявить больше чуткости, ему следовало бы понять, что эти люди разбиты бесконечными ударами судьбы. Кто знает, что представляли собой в Германии «столяры», пришедшие к Вольгемуту чинить дверь? Кто знает, чем они занимались, прежде чем превратиться в то, чем они теперь были? Надо же иметь снисхождение к этим лю-

дям. И, кроме того, все плохое, что говорится об одном эмигранте, бросает тень на остальных. Об этом Вольгемуту тоже следовало помнить.

– Признаться, – благодушно гудел длинноногий Вольгемут, шагая взад и вперед по комнате, – мне эти парни понравились. Просто удивительно, как много среди эмигрантов людей, не падающих духом. Все, что им приходится делать, всю свою теперешнюю жизнь они рассматривают как нечто временное. Их не интересуется моя дверь, их интересуется политика.

Доктор Вольгемут положительно гордится тем, что он так добродушно и притом сознательно позволяет себя эксплуатировать. Да, это подходящий момент: сейчас Анна выложит ему свою просьбу.

Она вооружилась одной из своих самых ослепительных улыбок.

– Это смешно, – начала она, – но я хотела обратиться к вам с просьбой, которая, пожалуй, только подтвердит ваше суждение об ЭБО, если вы ее исполните. – И она подробно рассказала ему историю Элли Френкель.

– Ну, послушайте, ну, знаете ли, – воскликнул доктор Вольгемут, – вы очень многого от меня требуете. Можете вы поручиться, что ваша приятельница справится с работой?

– Отнюдь нет, – ответила Анна. – Но я обращаюсь к вашему великодушию. У вас было столько печальных опытов. Имеет ли значение еще один? – Она была в ударе, она улыба-

лась, ее крупные красивые зубы блестели, она сверкала молодостью и свежестью; она уже не чувствовала себя эмигранткой Анной Траутвейн, обитательницей жалкого номера гостиницы «Аранхуэс»; она чувствовала себя уверенно, как в свои лучшие берлинские и мюнхенские годы.

– Какая же вы нехорошая, если еще и это хотите навязать вашему замученному шефу, – стонал доктор Вольгемут.

– Так когда Элли прийти, чтобы начать работу? – победоносно спросила Анна.

– Я надеюсь, – грозно прогудел Вольгемут, – что вы разрешите мне по крайней мере посмотреть на нее раньше, чем стовориться окончательно. Пусть придет, когда меньше всего помешает.

До сих пор Анна замечала только отрицательные качества своего шефа, отныне же она видела только его хорошие стороны. Ее улыбка уже не была профессиональной. Анна улыбалась от всего сердца. Доктору Вольгемуту доставило удовольствие рассказать историю с ЭБО, да и предстоящая встреча с господином фон Герке сулила много занятного. Поэтому оба, и Вольгемут, и Анна, вернулись в кабинет после вечернего перерыва в лучезарнейшем настроении.

* * *

Анна попросила нетерпеливо ожидавшего господина фон Герке в кабинет, и Вольгемут пригласил его сесть в зубобра-

чебное кресло. Господин фон Герке с достоинством опустил-ся в кресло. Да, манеры у него отменные, этот секретарь германского посольства, красивый, смуглый молодой человек, с белокурыми, мягкими, густыми волосами и очень красными губами, ни в чем не уступал другим парижским дипломатам, а теперь выяснилось, что он способен сохранить непринужденность манер и в тех неприятных ситуациях, когда многие пасуют. Он сидел с легкой, любезной, отнюдь не напряженной улыбкой и терпеливо, вежливо слушал ядовито-игривые речи врача.

– Нам предстоит сегодня, – со свирепой веселостью начал доктор Вольгемут, – проделать довольно много грязной, грубой работы, и я думаю, – он повернулся к Анне, – что мы наденем на господина барона халат. Салфетки сегодня будет недостаточно. Господин барон одет с завидной элегантностью. – (Фон Герке покорно влез в халат.) – Я надеюсь, – продолжал доктор Вольгемут с тем же ехидным добродушием, – что мы сегодня в полном порядке. Так безболезненно, как до сих пор, я уже предупреждал вас, сегодняшней сеанс не пройдет, да и затянется он порядком. – Вольгемут подвинул кресло и предложил господину фон Герке открыть рот.

– Дайте барону зеркало, – сказал он Анне. – Но послушайте, но поглядите, боже ты мой, что тут делается, – радостно повторял он в десятый раз, сокрушенно покачивая головой и сильно нажимая на слово «мой».

«Он готов созвать всю улицу и всем показывать мой рот»,

– злобно подумал фон Герке. Но по лицу его ничего нельзя было прочесть, он даже попытался улыбнуться, насколько можно улыбаться открытым ртом.

То, что барон Вальтер фон Герке, секретарь германского посольства в Париже, Шпицци, как называли его друзья, сидел в зубоврачебном кресле доктора Вольгемута, было целым событием.

Событие это имело свою длинную предысторию.

До прихода нацистов к власти господин фон Герке был незаметным, никчемным человеком. Он подвизался как гонщик-автомобилист, а время от времени и как тренер высокого класса по теннису. Своим назначением он был обязан некоей тайной «заслуге», которая сделала одного из правителей «третьей империи» его должником. Немало способствовала его назначению приятная, элегантная внешность. Несмотря на сорок один год, в нем сохранилось еще что-то дерзкое, привлекательное, мальчишеское. Лишь один недостаток нарушал благоприятное впечатление от его наружности: стоило ему открыть свои красивые, свежие губы, как показывались маленькие острые зубки, положительно крысиные, росшие к тому же вкривь и вкось. А теперь они и вовсе стали портиться, даже эмаль потускнела. Фон Герке страдал, как ему пояснили, атрофией зубных лунок, не то парадентитом, не то парадентозом, он всегда спотыкался на этом слове. Но, как бы там ни называлась его болезнь, она не только причиняла страдания и портила настроение – она еще и

уродовала рот, делая красивое легкомысленное лицо порочным и старообразным. Наряду с единственной в своем роде вышеупомянутой «заслужой» лицо господина фон Герке было его ценнейшим капиталом, и поэтому надо было что-то предпринять против этого парадентита или парадентоза, проще говоря, надо было что-то сделать со своими зубами.

И вот однажды, после изрядного количества рюмок коньяку, один из его приятелей, Раймон Фонтань, знаменитый Фонтань, чья улыбка восхищала мир, сверкая с десятков тысяч экранов, в порыве откровенности поведал ему, что зубы, придававшие обаяние этой улыбке, не совсем дар природы, и в ответ на его настойчивые просьбы дал ему адрес доктора Вольгемута.

Господину фон Герке неприятно было, что кудесник доктор не «ариец». Но с национал-социалистской точки зрения большой разницы не составляло, обратиться ли к врачу-еврею или к дегенерату-французу, помеси галла с негром. При всей политической благонадежности господина фон Герке не могло быть и речи, чтобы он доверил свои челюсти какому-нибудь пинчеру-наци, одному из тех плохоньких зубных врачешек, которые шныряли по Парижу, хотя в расовом смысле у них все было благополучно. Кроме того, на сей раз необходимо преодолеть в себе расовый антагонизм даже в отечественных интересах. По роду занятий ему приходится вращаться в парижском обществе; в руководящих сферах придают большое значение тому, чтобы именно здесь, в

Париже, по возможности маскировать неотесанность и грубость, свойственные новому режиму. Поэтому таким людям, как он, Шпицци, необходимо блюсти свою приятную внешность.

И вот в один прекрасный день господин фон Герке очутился в кабинете доктора Вольгемута. Вольгемут удивился. Всею душой еврей, он так же глубоко был убежден в подлости и неполноценности нацистов, как они в таких же его качествах, и то, что официальный представитель ненавистных нацистов прибегает к услугам изгнанного ими врага, доставило ему большое, веселое удовлетворение.

Предвкушая предстоящее удовольствие, он приступил к делу. обстоятельно осмотрел зубы господина фон Герке, с неприкрытым отвращением отозвался об их эстетических изъянах, нарисовал внушительную картину их неизбежного дальнейшего разрушения, в ярких словах живописал страдания, которые господин фон Герке, несомненно, испытал в прошлом, и еще большие муки, которые предстоят ему в будущем. Без всякого перехода заговорил о поразительных успехах современного зубо врачевания, заманчиво расписал, как прекрасно можно в нынешнее время преобразить даже такой запущенный рот, как у господина барона. Продемонстрировал это на фотографиях. Показал снимки с изображением зубов своих пациентов до и после применения своего искусства. Господин фон Герке загорелся. Самое сильное впечатление произвел на него уродливый рот киноактера

Раймона Фонтаня, каким он был до того, как доктор Вольгемут искусно создал его сверкающую улыбку.

Но едва любитель потешиться доктор Вольгемут добился нужного ему эффекта, как он вдруг сделался очень холоден и стал деловито втолковывать пациенту, до чего трудно придать шик именно такому рту, как у господина барона.

– Да, – сказал он с профессиональной прямоотой, – если бы задача состояла только в том, чтобы в гигиеническом смысле привести в порядок ваши драгоценные зубы, то не стоило бы говорить о таких пустяках. Но зубная косметика, особенно в вашем случае, – дело чертовски канительное и сложное. Спилить верхние зубы. Вылечить корни. Поставить протезы. Боже ты мой. Это стоит труда, времени, нервов, – он сделал выразительную паузу, – и денег. Когда дело идет о косметических операциях, публика не без основания опасается счетов Вольгемута. «Кто покупает у нас, платит дороже, но покупает выгоднее», как написано на вывеске одного универсального магазина в Лондоне, или, как говорили, бывало, в нашем прежнем Берлине: «Если хочешь смолоть свой кофе у Рафаэля, плати за это». Меня, собственно, выгнали из Берлина, господин барон, что вам должно быть небезызвестно, и еще немало народу выгнали из числа тех, с кем я считаю себя связанным. Я полагаю своим долгом помогать этим людям, таков уж я, а это стоит денег. Это стоит кучу денег, почтеннейший, и потому доктор Вольгемут не принадлежит к числу дешевых врачей.

Все это длинноногий Вольгемут изложил, шагая по комнате, благодушно картавя, каламбурия, треща без умолку. Господин фон Герке, конечно, давно уже поднял голову и сидел, изящный и элегантный, в роковом кресле, вежливо, внимательно слушая. Небольшое удовольствие, конечно, глотать дерьмо, которое изрыгает этот еврей. Так и хочется встать и тихо, а может быть, и не тихо захлопнуть дверь с другой стороны. Но он уже решил доверить этому ублюдку свои зубы. В конце концов, речь идет о том, что станет на всю жизнь неотделимой, незаменимой частью его тела, доступной всеобщему обозрению, – тут можно пойти на жертвы. Какую подлую шутку сыграли с ним его зубы. Парадентит-парадентоз – раз уж он влопался в такую мерзкую историю, надо испить чашу до дна.

Еще и монету хочет из него выжать этот зубодер, к тому же немалую. Какая низость. Но ничего не поделаешь. В конце концов, это единовременная трата. Как-нибудь надо это устроить, и он устроит, и не такие дела он устраивал.

А уж зубоскальство этого врача ему, конечно, нипочем. Если он думает, что его грошова ирония сколько-нибудь задевает барона фон Герке, он ошибается. Против таких вещей у Вальтера фон Герке иммунитет. Чувство собственного достоинства, мой милый, давно вычеркнуто из нашего обихода. Этой слабостью мы не страдаем. Впрочем, кто постоянно ковыряется во рту у других людей, кто мочит пальцы в чужой слюне и вдыхает чужое дыхание, тому следует помалки-

вать, когда речь идет о достоинстве. Наглые выходки такого субъекта господин фон Герке может с чистой совестью пропустить мимо ушей.

И он спокойно дал Вольгемуту договорить, сохраняя равнодушное выражение лица, и даже больше того: высокомерно задрал нос, он сложил свои очень красные губы в легкую, любезную, ироническую улыбку, и, когда доктор Вольгемут наконец замолчал, господин фон Герке ограничился лишь надменным, как бы вскользь брошенным вопросом:

– Сколько же эта штука должна стоить?

– Тридцать тысяч франков, – так же вскользь бросил доктор Вольгемут.

От этой бессовестной цифры у господина фон Герке все же дух захватило. Но только на ничтожную долю секунды. «Не следует покупать дешевых вещей», – пронеслось у него в мозгу еще до истечения секунды. «Что дешево, то гнило», частенько говорила мамаша. Я и сам не раз в этом убеждался. Чем дороже купишь, тем дешевле это обходится. Другой сделал бы, несомненно, дешевле, но, возможно, и хуже. Когда дело идет о собственных зубах, не останавливайся ни перед какими затратами. Этот малый – мастер своего дела. Иначе он не запрашивал бы таких цен, да еще так нагло.

– Идет, – сказал господин фон Герке, все тем же холодно-вежливым тоном. – Тридцать тысяч франков. Сколько же это продлится и когда можно начать? – деловито осведомился он.

Доктору Вольгемуту было немножко досадно, что этот нацист не возражал и не торговался.

– Раньше, чем недели через две, – холодно ответил он, – я не смогу заняться вами. Затем в первую неделю вы мне будете нужны ежедневно, но только для коротких сеансов, для подготовки. После этого я спилю вам передние зубы, и вы правильно сделаете, если всю следующую неделю проведете в уединении. В обществе вам лучше не показываться, прежде чем я не вставлю вам новые зубы. Я считаю, что нам придется иметь дело друг с другом добрых три недели. Приятным это время нельзя будет назвать.

– Ладно, – ответил все так же непринужденно господин фон Герке и поднялся.

– Кстати, я просил бы вас, – непочтительно остановил барона почти у самой двери доктор Вольгемут, – внести половину гонорара до начала лечения. Вторую половину нужно будет погасить до того, как я окончательно вставлю вам зубы.

– Вам, вероятно, часто приходилось иметь дело с жуликами, – еще вежливее прежнего произнес фон Герке.

– Правильно, – добродушно прогудел доктор Вольгемут. – В Берлине среди моих пациентов было много ваших единомышленников. Но кое-кто из них все-таки заплатил.

После такого обмена любезностями они расстались. Вечером господин фон Герке долго и задумчиво разглядывал в зеркале свое красивое, наглое лицо, очень красные губы, мягкие белокурые волосы, гладкую, холеную смуглую кожу

и еще задумчивее всматривался в маленькие, острые, испорченные, крысиные зубки. Он заранее испытывал все те муки, которые пророчил ему и так образно описал доктор Вольгемут, на случай если он не приведет в порядок свои зубы. «Пойти разве к специалисту-французу, – размышлял он. – Но я чувствую, что на эту свинью можно положиться. Если эта скотина будет дерзить, придется смириться и стиснуть зубы, насколько это возможно в таком состоянии. Париж стоит обедни». Да, у Шпицци спокойный, покладисто-наглый характер, поэтому он может себе позволить юмористически воспринимать заносчивость этого ублюдка Вольгемута.

Остается вопрос о тридцати тысячах франков. В разговоре с Вольгемутом эти тридцать тысяч франков были для Шпицци мелочью, *quantité négligeable*⁴. Но в данный момент это настоящая проблема, и над ее разрешением Шпицци приходится хорошенько поломать голову. Правда, в его активе значится упомянутое «деяние», «заслуга». Медведь – его должник, а одного слова Медведя достаточно, чтобы устранить с пути Шпицци любые препятствия. Но когда Медведь подкинул ему пост секретаря посольства, он сказал: «Я посадил вас в седло, а уж дальше извольте скакать самостоятельно». Ну, так только говорится, Медведь обязан о нем заботиться. Шпицци может показать свои когти, если тот его не поддержит. И все-таки глупо из-за каких-то паршивых тридцати тысяч франков брать в оборот Медведя. Пока что возь-

⁴ Величина, которой можно пренебречь (*фр.*).

мем-ка в работу нашего старого, честного Федерсена.

Федерсен был директором парижского отделения германского Среднеевропейского банка. При заключении последнего торгового договора Шпицци оказал Федерсену услуги известного рода, за что Федерсен в свою очередь платил Шпицци известного рода одолжениями. На этот раз господин Федерсен оказался не очень сговорчив; со свойственным ему шумным благодушием он заявил, что положение Шпицци в германском посольстве, как ему кажется, несколько пошатнулось, а потому сомнительно, сможет ли Шпицци впоследствии, если понадобится, отплатить услугой за услугу.

На настойчивые расспросы Шпицци, на чем основано такое мнение, господин Федерсен сказал, что слышал из хорошо осведомленного источника, будто на улице Лилль, другими словами в германском посольстве, затрудняются указать хотя бы на одну успешную операцию, которую можно было бы занести в актив господина фон Герке; при таких обстоятельствах господину фон Герке будет нелегко удержаться на столь ответственном посту. Шпицци только улыбнулся. Этот хорошо осведомленный источник мог бы адресоваться к еще более осведомленному и узнать, что в активе у Шпицци есть такая статья, которая заранее погашает все его настоящие, прошлые и будущие векселя. Шпицци – фаталист, он убежден, что реже раскаиваешься в том, чего не делаешь, чем в том, что делаешь; к тому же он флегматик от природы. И все же «заслуга» перестанет быть заслугой, как только придется

на нее сослаться, благодарность – одна из тех вещей, которые очень быстро старятся. Медведь предложил ему в будущем «скакать самостоятельно», не мешало бы, следовательно, заставить замолчать хорошо осведомленный источник. Вздохнув, господин фон Герке решил какой-нибудь новой заслугой положить конец толкам о своей бездеятельности.

Он стал размышлять. Недавно один из его агентов, некто Дитман, сделал ему предложение, довольно заманчивое, правда, но не лишённое риска. Шпицци оттягивал ответ, действуя согласно принципу, заимствованному у феодальной Испании: «Mañana – лучше завтра». Несколько дней назад Дитман повторил свое предложение, подчеркнув, что вряд ли вторично представится столь благоприятный случай сварганить дельце, и настаивал на ответе. Состояние зубов Шпицци, мнение хорошо осведомленного источника, необходимость раздобыть тридцать тысяч франков – это ли не вызов судьбы? Волей-неволей он преодолел свои сомнения и, заменив собственный принцип лозунгом фюрера, решил пойти на риск.

Некто Дитман получил, таким образом, желательный ответ, в актив господина фон Герке была занесена еще одна статья, хорошо осведомленный источник переменял свое мнение, господин директор банка Федерсен снова был к его услугам, и Шпицци в назначенный день мог явиться к доктору Вольгемуту с чеком в кармане.

Так он оказался сегодня в зубоврачебном кресле. За время подготовительных сеансов он привык к свирепой веселости этого зубодера, и его не удивляло более, что Вольгемут раньше, чем спилить злосчастные зубы, опять шумно любовался ими. Шпицци спокойно отнесся также и к тому, что еврей, по-видимому, с наслаждением созвал бы всю улицу, всем и каждому продемонстрировал бы отвратительные зубы национал-социалиста фон Герке. Более того, он послушно разглядывал в зеркале эти зубы, как того потребовал врач. Ведь это в последний раз, еврей сейчас приступит к делу, сегодня вечером самое худшее останется позади. «И самый твой тяжелый день пройдет».

Доктор Вольгемут исчерпал весь запас колкостей, которыми мог лишний раз уязвить мсье барона, и принялся за работу. Засунул пациенту вату между челюстью и щекой, пустил в ход зажужжавшую бормашину и начал до самых корней спиливать неприличные зубы господина фон Герке, который только крепко ухватился обеими руками за подлокотники кресла.

Шпицци сидел в кресле, одетый в халат, откинув голову, с разинутым ртом, всецело во власти Вольгемута. Небо, застывшее от обезболивающей инъекции, пересохло, Шпицци судорожно пытался глотнуть, характерное лицо Вольгемута с

горящими глазами и густой черной шевелюрой наклонилось над ним, машина жужжала, боли не было, но ничего приятного в шуме, отдававшемся в голове, тоже не было. В сущности, он опасался, что будет много хуже. И так как опасения его не оправдались, Шпицци, слушая трескучий офицерский голос доктора Вольгемута, сыпавшего колкими каламбурами, отдался прихотливому течению своих мыслей.

«Стоит ему захотеть, – думал Шпицци, – и он может изуродовать меня на всю жизнь, поди потом доказывай. В сущности, ужасно неосторожно было довериться ему. Нет, вряд ли он рискнет. Уж очень пострадала бы его репутация. Но он мог бы и не так еще меня помучить. Попадись, например, мне в руки человек, причинивший мне столько бед, сколько причинили мы им, я обошелся бы с ним иначе. Он мог бы меня сейчас так обработать, что я забыл бы, кто я, национал-социалист или еврей, поди потом доказывай. У него нет темперамента, он просто тряпка, добродушный дурак, он не принадлежит к господствующей расе, он, слава тебе господи, ублюдок.

В сущности, замечательные вещи можно теперь проделывать с зубами. Унификация зубов. Мы его одолели, этот парадентит-парадентоз, с помощью нашей северной хитрости. Дух изобретательства могуч в человеке. Нет ничего могучее человека. Как, должно быть, в прошлые времена страдали от парадентита. Сто лет назад такая красивая физиономия, как моя, была бы обезображена на всю жизнь.

Тридцать тысяч франков. Он, конечно, нагло лжет, будто помогает эмигрантам. С ума он сошел, что ли. Гнусный еврей-ростовщик. Собственно, мне следовало бы питать к этой свинье глубокое отвращение. Но видно, мой боевой дух несколько ослабел. Этот еврей мне совсем не противен, наоборот, он мне очень симпатичен, хотя он вел себя со мной, точно он сам Геббельс.

До чего он усердствует. До чего потеет. Тут одной физической энергии уйдет на тридцать тысяч франков. Отвратительная работа. Когда-то зубодеров относили к одному цеху с брадобреями. А теперь их принимают за полноценных людей.

Если он действительно отдаст эти деньги эмигрантам, если он решил утереть мне нос, да еще и гордится этим, то и я ему основательно напакостил. Вот уж действительно никогда не знаешь, смеяться или плакать. По-моему, со стороны это похоже на курьез: славный Беньямин оплачивает издержки, которые мне приходится нести в пользу эмигрантов.

В самом деле совсем не больно. Хотя приятного мало.

Как это Дитман попался, черт его побери. Очень уж глупо. До сих пор он не давал маху. Сначала, казалось, все шло как по маслу. Возмутительное свинство».

По существу Шпицци не желал редактору Беньямину ни худа, ни добра. Шпицци не знал больших страстей. У него была только одна действительная потребность – веселиться. И он считал, что добиваться от общества удовлетворения

этой потребности – его право. Уж она одна оправдывала поручение, данное Дитману. Но теперь, когда дело осложнилось, Шпицци испытывал нечто вроде неприятного похмелья.

И все-таки не комично ли: зубодер Вольгемут гордится, что выжал у него, у нациста, крупный денежный куш для эмигрантов, между тем как раздутый счет этого еврея лишь содействовал похищению славного Бенямина. Если представить себе связь событий, то получается великолепная шутка. Медведь – охотник до таких шуток. Достаточно рассказать ему об этой потехе, и Шпицци опять будет пользоваться его благоволением.

Такие мысли бродили в голове господина фон Герке, пока доктор Вольгемут возился с его челюстями, сверлил, подтачивал, пилил. Наконец он вынул вату и позволил Шпицци закрыть рот.

– Полощите, – приказал доктор Вольгемут.

Шпицци охотно повиновался. Он прополоскал рот, провел языком по тому месту, где еще несколько минут назад торчали зубы. Было очень странно касаться языком беззубых десен, ощущать неровные, окровавленные пеньки, чужие, безжизненные от наркотического снадобья.

Затем Вольгемут принялся за корни: по его выражению, он производил уборку в каналах корней. Действие наркоза ослабело; небо у господина фон Герке стало пощипывать. Доктор Вольгемут еще долго и деятельно возился во рту мсье

барона. Он зажимал ему зубы и пеньки маленькими тугими кольцами, которые врезались в десны, снимал восковые оттиски и делал гипсовые слепки челюстей – приятным это занятие нельзя было назвать.

Работая без устали, доктор Вольгемут рассуждал по поводу новых зубов мсье барона:

– Время от времени я хожу в театр и люблюсь своими зубами. Я, конечно, имею в виду зубы Раймона Фонтаня. Откровенно говоря, я недоволен ими. Они слишком ослепительны, слишком красивы. Таких красивых зубов не бывает. У господа бога они столь совершенными не получаются, сотворить такие зубы может только доктор Вольгемут. Долго я бился с упрямым. «Красивее, когда не так красиво», – объяснял я ему. Но с этими актерами сладу нет. Очень уж они тщеславны. Не повторяйте той же глупости, мсье барон. Советую вам, пока не поздно. Я даю вам хороший совет. По моему, если хотите знать мое мнение, те зубы, которые вы выбрали, слишком блестящи. Не надо, чтобы ваши драгоценные новые зубы были чересчур красивы. Посмотрите: вот эти на полтона тусклее, на полтона желтее. Они вернее произведут впечатление настоящих.

– Лучше все-таки те, блестящие, – прошамкал беззубым ртом господин фон Герке.

Только около девяти часов вечера доктор Вольгемут отпустил наконец Шпицци; он и сам очень устал, но был доволен. Он разглядывал чек, врученный ему господином фон Герке; это была вторая половина гонорара – чек на пятнадцать тысяч франков. Он с любовью оглядел его, потом запер в ящик. Завтра фрау Траутвейн чистенько напишет адрес, и деньги будут отправлены комитету помощи немецким эмигрантам. Доктор Вольгемут горд, что сумма так велика, и еще более – что он так остроумно и хитро вытянул у Герке деньги. «Вероятно, так же, как себя чувствует сейчас мсье барон, – думал Вольгемут, – чувствовал себя в свое время канцлер Аман, когда вел через весь город под уздцы любимого коня царя Ахашвероша, на котором восседал торжествующий Мардохей, и скрепя сердце славил перед всем народом этого Мардохея».

Доктор Вольгемут ошибался. Господин фон Герке отнюдь не чувствовал себя, как в свое время канцлер Аман.

Он поехал домой, лег в постель, принял болеутоляющее и велел принести себе бутылку старого вина. Ему заметно полегчало, совсем не так уж неприятно было провести вечер дома и в полном уединении. Он просмотрел вечерние газеты, потом отобрал несколько книг – давно, хотя бы в порядке выполнения служебных обязанностей, ему следовало их

прочитать – и остановился на романе, автором которого был большевистствующий литератор, а темой – судьба германских антифашистов. Господин фон Герке читал с интересом, не без эстетического удовольствия, временами сильно увлекался.

В книге упоминалось о судьбе писателя Теодора Лессинга, которого «ликвидировали» национал-социалисты, и господин фон Герке, читая это место, подумал о редакторе Беньямине. До чего глупо, что эта история не прошла гладко.

Он откинулся на подушки и машинально провел языком по пенькам, временно заложённым ватой и залитым воском. Через две недели, самое позднее – через три он сможет показаться в кругу приятелей в блеске новых зубов: он будет смело улыбаться ослепительной, сияющей улыбкой. Мысли о редакторе Беньямине исчезли. Шпицци приподнялся, отхлебнул несколько глотков бургундского, снова взялся за книгу. Роман большевистствующего писателя захватывал его все больше и больше. «В сущности, – подумал он, – писатели-эмигранты должны быть нам благодарны за великолепные сюжеты, которые мы им поставляем».

Искусство и политика

Хотя Зепп Траутвейн после исчезновения Беньямина первый заподозрил, что тут замешана германская полиция, его словно громом поразили официальное сообщение швейцарской полиции и арест Дитмана, подтвердившие его догадку.

Он думал, что для него такие слова и понятия, как беззаконие, нарушение человеческих прав, насилие, значили всегда больше, чем для других. После похищения Фридриха Беньямина он убедился, что раньше и для него это были лишь слова. Только теперь они стали реальностью. Он видел, он осязал беззаконие, оно хватало его за горло, душило. В «третьей империи» произошло немало гнусного, невообразимо жестокого, что близко коснулось его; у него были друзья среди убитых, среди заключенных в концлагерях. Все это бледнело перед похищением Беньямина.

Его охватила ярость против похитителей. Он ругался нещадно. Ругал и Беньямина. «В Базель ему приспичило, в пограничный город, этакий болван, этакий круглый идиот, такая чугунная башка», – бранился он, и себя он ругал за то, что не отговорил его от поездки. Но, несмотря на эту ругань, всю его неприязнь к Беньямину, добродушное презрение к его сибаритству, к рабской зависимости от Ильзы смыло без следа. Их сменила огромная щемящая жалость к исчезнув-

шему. Образ Беньямина с каждым днем становился для него все более светлым, ему казалось, что он в чем-то виноват перед Беньямином. Он смеялся над собой, но от чувства вины избавиться не мог.

В редакции ему отвели стол Беньямина. Это был потерянный письменный стол, похожий на тысячи других, но он внушал Траутвейну, не знавшему ранее подобных ощущений, какой-то суеверный страх. Присутствие отсутствующего Беньямина он ощущал более непосредственно, чем это было когда-либо в действительности. Когда он садился за его стол, ему казалось, что в кресле сидит бесплотный призрак его предшественника. Он старался представить себе реального Беньямина таким, например, каким он сидел против него за столиком в ресторане «Серебряный петух», – жующим, вытирающим рот салфеткой, но ничего не выходило; даже этот смакующий свою еду Беньямин, живший в его воспоминании, становился бесплотным, от него исходил слабый зеленоватый свет, каким в детских пьесах, которые Траутвейн видел мальчиком, освещались привидения; этого Фридриха Беньямина и каждое его слово сопровождала, точно Каменного гостя, тихая, страшная, призрачная музыка.

Траутвейн никогда не любил Ильзу Беньямин, но он не мог забыть звука ее голоса, когда она сказала: «Ну помогите же мне». Этот голос каждый раз вновь жалил его и вновь вызывал сострадание и гнев. Ему мерещились караульные и полицейские, он видел, как они набрасываются на Фридри-

ха Беньямина, видел этих тупых, грубых жителей деревень и городских предместий, откуда вербовались полицейские, которые теперь тешились над ненавистным евреем, давая волю своим темным инстинктам.

Так думал и чувствовал Зепп Траутвейн, когда Гингольд предложил ему окончательно занять в редакции место Фридриха Беньямина. Предложение это взволновало Траутвейна. Он знал: если он примет его, придется надолго забросить музыку.

Но совесть не позволяет ему отклонить предложение Гингольда. Как один из редакторов «Парижских новостей», он будет ближе к источникам информации о Фридрихе Беньямине, сможет быстрее предпринять необходимые шаги, войти в контакт с крупными европейскими газетами, успешнее бороться за дело Беньямина. А дело это не оставляло его в покое. От увезенного, замученного Фридриха Беньямина, от его письменного стола, даже от его неприятного голоса, звучавшего в ушах у Зеппа, исходила магическая сила, против которой он тщетно боролся, взывая к своему рассудку.

В состоянии полной нерешительности, какой он еще никогда в жизни не испытывал, он попросил дать ему время на размышление.

Обсудил этот вопрос с Анной. Она стала отговаривать его с горячностью, какой он никак не ожидал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.